

Мишель Сюрра

ДЕНЬГИ : КРУШЕНИЕ ПОЛИТИКИ

138 с. Серия «Французская библиотека».

Издание осуществлено в рамках программы «Пушкин» при поддержке Министерства иностранных дел Франции и Посольства Франции в России

© Manuels Payot, 2000

© Издательство «Наука», 2001

© О.Е.Волчек, С. Л. Фокин, перевод, 2001

© С.Л.Фокин, послесловие, 2001

Веб-публикация (фрагменты): Марианна Петрович и редакторы сайтов Vive Liberta и Век Просвещения 2008

Гюстав Флобер на слово «Эпоха» в «Лексиконе прописных истин»:

«— Наша.

Возмущаться ею. Горевать, что непоэтична. Называть ее “эпохой перехода — упадка!”». Среди прочих черт, коими характеризуется наша эпоха и коими она отличается от тех, с которыми хочется ее сравнивать (среди прочих и с той, что оправдывала сарказм Флобера), имеется и такая: она не создана, чтобы ею возмущались. Вопрос тогда будет такой: так ли уж она уверена в себе, что уже то, что ею возмущаются, представляется ей неуместным? Или же она так не уверена в себе, что боится этого? Любит ли она себя и дивится, что не все ее любят? Или втайне сомневается в себе и опасается, что все ее не любят?

В этом ее малодушие или патетика: она представить себе не может, что у нее есть враги, и слышать о них не желает. Великие эпохи всегда гордились тем, что вскармливали в своем лоне великих врагов, врагов неукротимых. Эта же слышать о них не желает.

Стоит ей найти хотя бы одного, как она сразу же готова уверовать в возможность возрождения войны, с которой, как ей хочется верить, она покончила раз и навсегда.

В то же самое время она не до того проста, чтобы существовать так, будто у нее есть возможность их вовсе не иметь; вот почему наша эпоха, которая превыше всего ценит возможность вовсе не иметь врагов, ежесекундно изобретает себе врагов ложных. И вот почему она с такой выпендренностью превозносит тех, кого числили за собой предшествовавшие эпохи. Которые, конечно же, и не могли не числить их за собой, не достигнув того совершенства, на которое всерьез претендует наша.

Ни единой жалобы.

Ни единой души, кто стал бы протестовать так, что ушли бы сомнения в том, а не исчезла ли сама возможность протестовать. Всякое напряжение в конце концов должно спастись, притом в точности неизвестно ни того, от чего это напряжение зависело, ни того, от чего могло зависеть, если бы не спало.

Что есть, вероятно, и вызывает весь ужас, но нет ни единого средства от него скрыться, которое также не внушало бы ужаса. Иначе говоря то, что есть и к чему столь открыто приспособляются, и делает ситуацию безвыходной.

Каждодневно встает вопрос: до какой степени представляется реальным то, что есть, если все это сносят? Или же то, что все сносят, является выносимым при том одном условии, что никто не воспринимает это как нечто реальное?

Что все сносят и что на деле невыносимо, и что невыносимо, потому что не осталось ни единой души, кто находил бы, что все это внушает ужас, не внушает ужаса, потому что не осталось больше ни единой души, кто верил бы, будто это и есть реальность. Другими словами, ужас все менее и менее реален, потому что именно удовольствие избегать его завладело всей реальностью. Ведь именно этого хотелось бы больше всего: чтобы правом на реальность владело бы исключительно удовольствие. От всего этого складывается впечатление — не истинное и не ложное в полной мере, — что, как ни ужасно жить таким образом, сама жизнь того и гляди обернется сплошным удовольствием.

Что-то рождается на наших глазах, чему пока нет имени, что еще слишком рано именовать (но в надлежащий момент все равно придется именовать, но тогда уже будет поздно), что-то рождается, о чем пока достаточно будет сказать, что в нем воплощается сиюминутное согласие между ужасом и удовлетворенностью тем, что не осталось больше ни единой души, кто не испытывал бы потребности превратить свою жизнь в игру, как бы это не было страшно.

Первый вопрос о *что есть* и невыносимая удовлетворенность тем, что этого-то и надо держаться, ведут к следующему: как это возможно, чтобы хватило такой малости? Что держатся этой малости с такой скорбью, что выходит, будто любая другая скорбь не идет с ней ни в какое сравнение. Но этого вопроса мало. Возникает второй: от какой другой скорби помогает скрыться эта удовлетворенность, в которую никто пристально не всматривается, с тем чтобы понять, а что она несет с собой? На ум приходит и третий (но это скорее подозрение): не была ли рождена эта скорбь для того, чтобы удовлетворенность, служащая ее утолнением, выглядела бы единственно возможной? Иначе говоря, самая большая трудность заключается в том, чтобы понять, а что первично — то, чего надлежит избегать, или унижительное смятение, посредством которого поощряется бегство. Есть сильное подозрение, что некая политика уже вынесла по этому поводу решение, причем с таким цинизмом, в котором с полным на то правом можно подозревать самых лучших политиков, то есть тех, кому лучше всего удается скрывать свои намерения. Тем не менее ответ на вопрос, почему на это столь охотно, столь повсеместно, столь единодушно согласились люди, ускользает. Или остается загадкой.

Никогда еще люди не казались себе такими счастливыми. Кажется даже, что нет ни единой души, которой не была предоставлена такая возможность, даже и среди тех, кого счастье обходит стороной.

В то же самое время среди всех, кто кажется таким счастливым, нет, похоже, ни одного, кто не был бы готов кинуться в первое подвернувшееся бедствие, тяжелое или не очень; лишь затем, чтобы немедленно покончить с тем, что есть невыносимого в его уделе, и на что, есть у него такое подозрение, он обречен. Сегодня людям невыносимее всего жить в счастье. Хотя они именно так и живут. И полнота этого счастья только возрастает, в силу того что людей в этом убедили. Или того, что они сами в этом убедились. Они убеждены в этом, хотя невыносимо далеко не только счастье.

Надо думать, что они в этом убедились совсем не из-за того, чтобы доставить удовольствие тем, кто этого для них хотел. И уж не из-за того, чтобы доставить себе такое удовольствие. Должно быть, им стало казаться, что уже просто невозможно, чтобы они не были счастливы. Что уже просто невозможно не признать, что теперь у них есть все для того, чтобы быть счастливыми. Среди всех галлюцинаций, на которые, как можно было видеть, повсеместно поддавались толпы, данная галлюцинация была определяющей. То есть очень скоро стало очевидно, что жизнь в счастье может быть не менее унижительной, чем жизнь в несчастье.

В общем это была величайшая победа, которую только могла одержать политика: принудить к счастью те самые толпы, которые она не в состоянии была сделать счастливыми. Но для нее это была слишком большая победа: никто уже больше не знает, что нужно для того, чтобы толпы не ведали больше, что такое счастье, которое было некогда им дано или которого они сами хотели, не суть, но которое стало для них невыносимым. Никто больше не знает, как можно отказаться от счастья, о котором говорится, что это счастье толпы, и которое толпа уже признает таковым, хотя бы в ее глазах это счастье и было самым презренным или самым унижительным.

Никогда еще толпы не ведали так мало о своей судьбе, о которой можно было бы сказать, что это им подвластно ее знать и не знать никакой другой. Никогда еще судьба столь мало не зависела от какой бы то ни было победы, о которой можно было бы сказать, что это они ее одержали. Такую судьбу толпам навязали. Что они и замечают с сильным опозданием. Что они замечают, осыпая себя упреками, что сами допустили, чтобы им ее навязали.

Хотелось, чтобы толпы были покорными, а они просто видели себя счастливыми. Так получилось, что эти два желания пережили момент совершенного согласия. Так получилось, что толпу смогли убедить в том, что она будет счастлива только при том условии, если покорится. Если покорится желанию, которое, как утверждалось, способно принести ей счастье. И на самом деле, толпы без всякого напряжения достигли убежденности, что их счастье в покорности.

Именно с данного времени никто и не знает, как из этого выбраться. Но самое плохое в том, что никто в отношении себя не знает, а хочет ли он из этого выбраться. Несомненно, этого момента своего покорения и стыдятся толпы. Он для них унижителен. И в то же самое время нет такой толпы — даже самой счастливой, даже самой униженной, — которая не страшилась бы того, что то, что позволит им расстаться с этим стыдом или с этим унижением, не оказалось бы чем-то еще похуже. В итоге, невозможно со всей достоверностью знать, рождено ли счастье, которое демонстрирует толпа как свидетельство равенства, установленного господством, которое она на себя налагает; или как угроза, что она всегда готова нарушить это равенство и снова войти в союз с насилием, что всякий раз, когда толпа переставала быть покорной, она становилась народом.

Понятно, никто в это особенно не верит. Элита (термин правой идеологии) смогла добиться того, что этот народ (термин левой идеологии) знать ничего не желает об иной доле, нежели та, что будет уготована ему обществом потребления, как только средства насладиться этим потреблением больше не будут для него недоступными в *принципе*. Заметим, что именно с того дня, когда судьба потребления стала всеобщей долей, судьба равенства утратила свою былую способность

утверждать политические ценности. Не через обмен, а через подмену. Хватило того, что деньги доказали, будто равенство всенепременно будет установлено потреблением, и никому уже в голову не приходит, что равенство может установиться наперекор обещанному деньгами потреблению. Из всех побед, которых можно было со страхом ожидать от денег, такая победа чревата самыми тяжкими последствиями. Одержав эту победу, деньги добились того, что вместе с ними ее одерживает всякая связанная с ними политика. Одержав эту победу вместе, деньги и политика довели дело до того, что никто уже теперь не знает, где одно, а где другое.

Все, кто по своей воле связывают себя с высшей судьбой денег, как если бы она была их собственной, унижаются. И в самом деле, истинная хитрость капитала заключается в том, что он смог убедить людей; что он убедил их в том, будто отныне от него уже не зависит, будет ли удел толпы менее унижительным; будто это столь мало от него зависит, что отныне, наоборот, его судьба зависит от судеб масс.

Из всех унижений такое унижение, без сомнения, более всего разрывает сердце. Поскольку впервые дело идет уже не о поражении. Ни один народ, ни один класс не был разбит в результате какой-нибудь открытой социальной битвы. (Разбитый класс остается обещанием борьбы более праведной; и более жестокой).

Впервые нет никого, кто не был бы откровенно унижен. Это-то унижение и поражает более всего.

Чего хотят эти толпы? Ничего, кроме того, что имеет буржуазия. На буржуазный же манер и когда-нибудь в равном количестве. То есть ничего, кроме денег, которыми обладает буржуазия, на буржуазный же манер и когда-нибудь в равном количестве. Уже никому и в голову не приходит, что деньги, которыми владеет буржуазия, презренны. Поскольку никому и в голову не приходит, что буржуазия презренна. Поскольку мечтают только об одном: в свою очередь стать буржуа. Как-то между делом сформировалась одна жалкая мечта, которая, того и гляди, подменит все другие мечтания: быть не противоположностью буржуа (предназначение); быть даже не той буржуазией, которая приходит на смену другой (ниспровержение); но быть из буржуазии, вместе с ней — *входить в ее состав*.

Торжество интересов одного класса навязывается всем остальным, притом что эти последние никоим образом не противятся торжествующему классу. И самое унижительное в том, что интересы буржуазии навязаны всем, *причем без всякой борьбы*; что они навязаны всем без всякой борьбы, потому что буржуазия сумела убедить исторически противостоявшие ей классы в том, что ценности, с которыми она себя отождествляла (или которые отождествлялись с ней), на самом деле являются такими ценностями, которых никто не может быть лишен.

Как-то вышло, что даже те, кто ей противостоял, дали убедить себя не только в том, что буржуазия обладает своими ценностями на законных основаниях, но и в том, что на вполне законных основаниях она стремилась к тому, чтобы других ценностей и не было.

Сегодня никто так не убежден в истинности ценностей буржуазии, как те, кто долгое время ей противостоял.

Для убеждения тех, кого предстояло убедить, одной буржуазии — денег, капитала — было бы мало. Требовалось, чтобы к средствам, коими она издавна обладала и в отношении коих у нее не было и тени сомнения, что это самые веские доказательства, которые она способна предложить, в качестве дополнительных доказательств добавилось еще кое-что.

Что же? Средства прессы, поскольку требуется, чтобы никто не пребывал в неведении о буржуазии; средства правосудия, поскольку требуется, чтобы никто не вздумал в ней засомневаться. То есть, собственно говоря, средства господства.

Господство — это результат такой операции, которую капитал был бы не в силах повернуть в одиночку и которая нацелена на то, чтобы равенство могло выглядеть как результат всех проводящихся через деньги коммерческих операций, не только экономическое (это еще куда ни шло), *но и моральное* превосходство которых решено было доказать.

Это доказывалось, когда стали говорить, будто не будет больше незаконных денежных доходов. Доказывая, что отныне не будет больше незаконных денежных доходов, приводили по существу моральное доказательство тому, что деньги могли становиться *равноправными* в силу того же самого движения, в котором они становились *законными*.

Без сомнения, капитализм был неспособен установить равные права на деньги (по природе своей призванный утверждать обратное). Об этом не стоит даже говорить. Довольно было бы того, чтобы была установлена их законность (что и было сделано через прозрачность). Просто удивительно, что из всех формальных свобод, упорно разоблачавшихся в капиталистической демократии реальным или грезившимся коммунизмом, именно от самой формальной свободы требовалось служить *добавочным* свидетельством способности капитализма установить все демократические свободы.

Все время возникает вопрос: что такое господство?

Сама политика? (В чем никто не сомневается).

Или ее исчезновение? (Чего никто не может допустить).

Во втором случае, в случае исчезновения политики, вопрос встает так: в пользу чего?

Ответ: в пользу господства — тавтология, против которой большинство справедливо будет протестовать. Тем не менее именно такого ответа требует вопрос, если он не очень настоятельный. Стало быть, требуется уточнить: господство — это *власть без политики*. Без политики, ну разве что в качестве пережитка, которому предстоит исчезнуть. Еще точнее: в том качестве, что политика исчезает.

Однако как почти никто всерьез не сомневается, что политика не обладает более ни одним из своих бывших полномочий, так почти никто не может допустить, что политика не имеет власти воспрепятствовать тому, чтобы ее лишили былой власти.

Господство — это результат операции, нацеленной на то, чтобы политика не могла больше воспрепятствовать тому, чтобы денежные круги (финансовые рынки), информационные круги (пресса, *медиа*), пропагандистские круги (реклама, которую сегодня не стоит даже пытаться отличить от информационных кругов) и юридические круги (судьи, то есть те, от кого сегодня зависит «справедливое» распределение денег) захватили всю власть. Пусть же они ее захватят, да так, чтобы никто даже думать не мог, что существует какая-то власть помимо господства.

И они ее захватили.

Целиком и полностью. Политические круги имеют власти ровно столько, на сколько господство согласилось им ее временно переуступить. Пусть пока переуступит. Пусть переуступит власть ровно на тот срок, пока господству не покажется, что оно в состоянии владеть властью в одиночку; на таком условии оно соглашается еще на формы, в которых долгое время предстала политика, полагая, что массы, сколь глупыми или сколь одураченными они бы ни были, не потерпят того, чтобы политика в традиционном смысле слова была так быстро устранена от надвигающихся форм власти. На которые они и сами согласны. Которые они сами призовут. Все так и вышло.

Были возможны иные миры. Существовали иные мечтания. И о том и о другом свидетельствуют годы борьбы. У одних — неиссякающая в течение всей жизни воля. У других — не идущее ни на какую сделку неистовство. И в конце концов — ничего, разве что эта форма безграничного ужаса перед всеобщим одобрением того, что есть.

Очень может быть, что Кафка рассмотрел все или почти что все из того, на что может согласиться человек. Никто так полно, как Кафка, не рассматривал всего того, на что может согласиться человек. Он показал, например, согласие незнакомца (невинного) на нож, что приносит его в жертву. А радость? От Кафки ускользнула радость. Радость, которая бросает незнакомца или невинного на нож. Радость, делающая нож той единственной судьбой, которую будет знать этот невинный. Пусть же познает, ведь пожелать иной судьбы ему больше не представится.

От жертвы, на которую идут добровольно, от свободы, которой собственно жертвуют, принося себя в жертву, выгоду извлекает лишь господство. Причем эта выгода не имеет никакого отношения к сакральному. Ничего так сильно не страшится господство, как того, что будет сакрализовано. Потому как ничего так сильно не хочет, как быть просто-напросто эффективным.

Вопрос не будет разрешен, если произойдет что-то другое с теми, которые чего-то хотели, о чем-то мечтали. Ни если это произойдет с тем, чего они хотели или о чем мечтали.

Известно, как они перестали на это притязать. Примерно известно и то, вследствие чего им показалось, что нет уже никакой возможности, чтобы они притязали на это еще какое-то время.

Но что же они сделали с тем, к чему призывали, и с тем, от чего зависит любой призыв? Что они сделали с мечтой, которую носили в себе, и с тем, до чего хочется быть доведенной любой мечте?

Здесь возникает необходимость в одном определении, хотя долго распространяться на этот счет и не стоит: буржуа — это как раз тот, у кого нет никакой мечты. Поточнее — кто избавился от всех своих мечтаний. И ценой отрицания своих мечтаний заплатил за возвращение к лишенной мечты системе. Кажется, что из первого определения можно вывести второе, оно также не требует особых доказательств: система, которой удалось добиться от мечтавших даже того, чтобы они отвергли и отринули свои мечты, а ведь мечтали они наперекор ей, является, причем абсолютно, буржуазной системой, то есть системой, не имеющей никакой возможной альтернативы.

Нет никакого сомнения в том, что из этих двух определений можно вывести следующее положение: система без альтернативы — это ужас.

Деньги были навязаны даже тем, кто выступал против них, причем так, что казалось, будто ничто не может их остановить. Однако дело в том, что на большую часть доводов, которым деньги способны придать цену, накладывались иные доводы. То есть деньги, конечно, их покорили. Они покорили их, но так и не обратили в свою веру.

Эта фраза написана вовсе не для того, чтобы оставить основания на надежду в мире, который, по-видимому, не переносит как надежд, так и мечтаний; тем не менее она написана для того, чтобы те, кто располагает деньгами и условиями, в которых они обретают реальность, не поверили, что присоединение к ним недавних противников вызвано чем-то большим, нежели беспомощностью, в которой те временно оказались.

На самом краю этого выбора, пока еще такого туманного, возникает какое-то колебание. И в самом деле хотелось бы, чтобы не все в это верили. Или чтобы они тогда в это не поверили.

Чтобы наоборот поверили, что нет в мире ничего другого, во что менее всего должно верить. Поскольку все складывалось как нельзя лучше для того, чтобы мир как можно меньше походил на то, на что им хотелось, чтобы он походил.

Тем не менее уверенности нет. Вовсе не невозможно, что нет уже ни единой души, готовой воспротивиться новому железному закону, новому богу домашнего очага. Даже из тех, которые считаются готовыми выступить против. Возможно, и они в свою очередь станут теми, кого закон этот обратит в свою веру. Такое обращение наполнит его гордостью. Даже переполнит: ведь оно не представлялось ему возможным.

Презрение к деньгам было политикой. Но нет уже никакой политики, которая могла бы приладиться к такому презрению. Поскольку нет больше никакой политики. Поскольку нет такой политики, над которой не возобладали бы деньги. Нет такой политики, над которой не возобладали бы деньги, поскольку нет политики, в которой деньги не решали бы все. Деньги до такой степени все решают, что нет больше политики, *даже политики денег*.

Замкнутый круг. Из которого не выйти, не выйдя из того, что вызывает ужас. Не противопоставив тому, что вызывает ужас, насилие, которое и позволит из этого выбраться. Самое неистовое насилие. Политика до такой степени исчезла, что даже нет надобности говорить, что это насилие хоть толику будет «революционным».

Вот одно из тех явлений, удивляющих более всего: одно за другим или все скопом исчезают еще так недавно имевшиеся у всех основания протестовать. Протестовать таким протестом, что казалось, будто ничто не может его свести на нет.

Промолчали, это ясно. И не менее ясно оттого, что неизвестно кто и неизвестно как добился этого молчания. Понятно одно: ничего не было сделано для того, чтобы исчезли основания, на которых поднимался протест. А также второе: ничего не было сделано и такого, чтобы на каком-то основании исчез сам протест. И, может быть, третье: по большей части как раз те, кто протестовал с наибольшей свободой и неистовством, и представляют с наибольшей уверенностью не только те основания, согласно которым этот мир не должен быть разрушен до основания, но и те, согласно которым даже и не существует лучшего мира.

Приспособились. Всей массой. Это еще самое невинное слово, которое следует употребить, характеризуя все отношения, которые сегодня, по-видимому, поддерживают с тем, что они есть:

приспособились. Даже те, кто полагал, что к этому миру невозможно приспособиться. Они-то в основном и приспособились.

И наслаждаются. Чем с большей решимостью готовы были все сокрушить, тем сильнее наслаждаются. Станный взаимообмен. И таинственный. Возраст что ли? Алчность? Возраст, деньги — но в основном малодушие, столь свойственное возрасту и столь щедро оплачиваемое деньгами, — облагородили всех тех, кто этого только и домогался.

Нет такого революционного желания, которому не пришлось бы когда-нибудь иметь дела с предательством тех, кому не терпелось, чтобы революция вознаградила их ожидания. Никогда еще, однако, те, кто должен был предать, не выжидали так мало, притом что в данном случае являлись большинством.

За что капитал и был им признателен: среди мест, на которые они могли претендовать, им отведены наилучшие. Которые капитал приберегает для тех, кто, поносившись с планами его сокрушить, к нему примыкает. И все довольны. Только они ничего не видят. Зато у всех на виду, даже в большей мере, чем те, кто от них защищал капитал, но это уже правосудие в соответствии с порядком интересов самого капитала, то есть главенствующего режима денег. Капитал несправедлив, возможно; но ему и не нужно быть справедливым, нужно, чтобы он был признательным. Был признательным, чтобы ни у кого не возникло и тени сомнения в том, что он действует согласно неизменному чувству собственного интереса.

Политика исчезла, а господство стало почти что тотальным.

Чтобы ни хотелось сказать, входя в детали или держась от них в стороне (упрощая), какое бы доказательство ни напрашивалось, нет ничего, что не требовало бы для начала следующего: от политики ничего не осталось. Именно оттого, что ее больше нет, и оттого, что ее не осталось, господство является тотальным.

Господство — это не одна из возможных форм политики, это главенствующая форма ее исчезновения. В нескольких с умыслом подобранных словах можно сказать так: исчезновение политики всегда свидетельствует о торжестве полиции над политикой. Таков и данный случай, каким бы далеким ни казался он от какого-нибудь показательного случая, по которому можно бы признать, что полиция восторжествовала над политикой.

Таким образом, если говорить, что господство не есть форма политики, тогда следует сказать, что исчезновение политики требовалось для того, чтобы господство восторжествовало. Если бы господство было политикой, оставалась бы в сохранности сама возможность политики. Но происходит обратное. Господство является безраздельным, поскольку политика к нему больше непричастна. Политика менее всего причастна к господству, потому что именно она поработала на дело своего окончательного исчезновения.

Но тогда следует упомянуть еще один довод, в отношении которого сегодня трудно уже сказать, было ли все это хорошо спланировано или стало результатом стечения обстоятельств: господство расширяло свои планы, реформировало свои операции, устанавливало свои топографии, а наше внимание от этого было отвлечено.

Устанавливалось господство, а мы ничего не видели, не поняли, не предугадали? Дело в том, что наше внимание было занято тем, что делалось ради того, чтобы люди *верили, будто политика еще существует*. Сначала это нам и в голову не приходило, ведь к нашему образу мыслей примешивалось ожидание, может даже надежда. Только в каком-то одном отношении, где все решала *тревога*. Приходится констатировать: мы занимались политикой, но суть не в том, что ее больше не существовало, а в том, что мы опасались, что единственная сохранившаяся политика была наихудшей.

Пора сказать без обиняков: существование фашистской партии во все времена поддерживало иллюзию, будто политика еще есть (так будет и дальше). Следует признать, что любая политика была заинтересована в сохранении спасавшей ее иллюзии.

Из этого выходит, что все партии покровительствовали *этой* партии (в некотором смысле единственной, что оставалась). И кажется, не так важно было, что благодаря этому покровительству не оставалось больше никакой политики, кроме как в самой регрессивной ее форме — лишь бы политика вообще существовала. Задним числом смело можно утверждать, что в этом-то и было все дело. Все это время демократические партии своим существованием обязаны были одной-единственной недемократической партии; может быть, только благодаря ей верили в демократию, зачастую претендовали на демократию, которую якобы спасали, тогда как, сами того не ведая, делали все для того, чтобы она исчезла.

Вот ведь как: осуществили то, чего, как мало-помалу обнаруживалось, фашистская партия была не в состоянии осуществить!

Мы до того были увлечены возможностью, что столь регрессивная политика может существовать, что не заметили, как именно в силу совершенно моральной иллюзии войны, объявленной *этой* политике, и стала возможной аморальность исчезновения политики.

Господство хотело, чтобы люди верили в возможное возрождение архаичной политики? Только для того, чтобы они ничего не видели из устраиваемых втайне процедур, направленных на исчезновение политики. Хотело, чтобы поверили в возвращение прежних, ничем не ограниченных форм полиции? Только для того, чтобы на их место пришли другие формы — современные, мягкие и гибкие. Такие мягкие и такие гибкие, чтобы никому не удалось бы обвинить их, не впадая в преувеличения, в том, что это собственно полицейские формы. Эти новые времена, пережить которые нам все-таки очень бы хотелось, в будущем будут узнавать по мягкости и гибкости полицейских организаций, каковые повсюду распространились. Гибкости и мягкости тем более ощутимых, что число полицейских организаций, похоже, велико.

Действительно, вскоре уже не останется ничего, что своей мягкостью и гибкостью, которых так уж всем хотелось, не было бы обязано полиции. Никого, кто не хотел бы, чтобы полиция обладала мягкостью и гибкостью, каковых революции в отличие от полиции не удалось принести. Понятно, история денег — сложная штука. Тем не менее она не имела бы такого значения, если бы между делом люди не стали дожидаться от полиции того же, чего ждали от революции.

Что вырисовывалось в тени того, прибытия чего ожидали при полном свете, захватывает сегодня всю власть. *Сегодня вся власть принадлежит тому, кто обладает властью*. Не только потому, что мы между делом поддались ненависти, порождаемой самим фактом какой бы то ни было власти, *a fortiori*, если она тотальна. Но потому что мы на какое-то время поверили, что новые формы власти могут что-то перенять у своих старых форм. Что могут даже с ними слиться. А ведь не это произошло. Из всех тех иллюзий, которые власти во все времена так ловко порождали, дабы привести в замешательство тех, кто собирался их сокрушать, эта иллюзия, несомненно, самая удачная. Мы, понятное дело, честно поднимали волнения; но уже ничего не могли поделать с тем, потому что все это было тщетно.

Мы остались в дураках? Понятное дело. А могло получиться, что не в полных дураках. А получается, что нам еще долго придется расплачиваться за это заблуждение, толкающее нас делать то, что, как нам казалось, не сделали наши старшие братья. Когда нам вроде бы надлежало что-то делать, а дело было в том, что это наша эпоха хотела, чтобы это делалось: дабы лучше помешать тому, чтобы последние поняли, что демократия исчезает.

Мы долго будем в ответе за то, что не сказали достаточно внимательно, чтобы помешать исчезновению демократии — одновременно и в одном и том же движении — вместе с исчезновением политики. И все потому, что продолжали думать, будто только крайне правые способны к действиям, направленным на то, чтобы демократия исчезла.

Крайне правые поддерживали идею, что политика после их исчезновения, происшедшего у всех на глазах, уцелеет. Не важно было, что она уцелеет лишь как ответная форма политики. На самом деле, не важна была форма, в которой *из* политики уцелеет что-то, лишь бы это уцелело. Лишь бы те, кто вынашивал замыслы, направленные на ее устранение, не одержали верх. Почти все так думали или примерно так.

Но сегодня вызывает смех то, над чем одержали верх так полагавшие.

Или смутно беспокоит.

Беспокоит, если подумать, что они не только одержали верх над крайне правыми вместе с теми, кто одержал верх над политикой вообще; но и что они одержали верх над политикой вообще, потому что сами меланхолично занимались тем, чтобы не одержали верх крайне правые.

Чего они были сделать не в состоянии. Это было очевидно. Сегодня все это знают.

Пока крайне правые занимались — и нас занимали — воспроизводством старых мрачных призраков, капитал занимался производством противоположности призраков, воспроизводимых крайне правыми и вызывавших наши опасения.

Противоположность по имени: *прозрачность*.

Из всех слов, посредством которых политика или то, что от нее осталось, может быть высказана, это слово — самое красноречивое. Не думали ли мы простодушно, что нечто тайное угрожало тому, что было (а может, мы думали, что в том, что было, доля оставшегося тайным была громадной)? Но в этот самый момент происходило совершенно противоположное: воцарялась безраздельная прозрачность.

Прозрачность столь прочно утвердилась по той простой причине, что те, кто хотел, чтобы она утвердилась, были совершенно убеждены в том, что только она может послужить тем замыслам, которые они преследовали. И вероятно, они хорошо знали, что это за замыслы, в преследовании которых может помочь только прозрачность. Тогда началась идеологическая война, о которой, по всей видимости, знать ничего не знали те, кто сегодня, слишком поздно, осознает ее последствия; война, в которой участвовали, похоже, лишь те, кто ее выиграл. Другие, все те, кого такая война должна была бы заинтересовать, были заняты чем-то другим. Заняты тем, чем их занимали.

Странно ведь: редчайший случай, чтобы пропагандисты, призывавшиеся интеллектуальной войной, оказались столь обезоруженными. Все как один, за исключением тех, по чьей инициативе она развернулась. Среди всех упущенных встреч, которыми так богата история, эта встреча, без сомнения, стоит дороже всего. Ведь сколько еще придется ждать, чтобы снова встретились революционеры, строившие заговоры с целью положить конец режиму господства, и консерваторы, подстрекаемые господством с целью увековечить свои процедуры. Истина заключается в том, что в этой войне надолго восторжествовало господство. И что оно не восторжествовало бы без непредвиденной поддержки тех, кто не упускает случая назвать себя «революционерами».

Сегодня очевидно, что именно в ходе последних пятнадцати лет, когда казалось, что может восторжествовать фашизм, на деле восторжествовала неслыханная процедура господства; причем изо всех, что оно для себя выработало, самая эффективная.

Что восторжествовало то, над чем капитал втайне работал уже многие десятилетия: конец всякой альтернативы системе, выдававшейся им за модель. С этих пор капитал будет безраздельно одерживать верх: не будет больше ничего, чего он не мог бы потребовать и получить от тех, над которыми он обеспечил себе полное господство, ведь не будет больше ничего, во имя чего кто-то ему может в этом отказать.

Могло бы показаться, что это единственная победа, одержанная тогда капиталом. И будет казаться, что подобной победы, несомненно, было достаточно, ведь он заставит замолчать всех тех, кто выступал против него (пытался ему помешать).

Но это не так: подобной победы, как бы велика она ни была, было мало. И этого также не увидели. То есть также не увидели, что капиталу было мало того, что во всем мире нет никого, кто мог бы или хотел бы ему воспротивиться; требовалось еще, чтобы не было никого, кто хотел бы взять капитал в свои руки.

Именно это, несомненно, и не сразу обнаружилось. Не очень-то обнаружилось и поныне. Капитал, стань он неизбежным, несомненно торжествующим, но торжествующим как-то слишком, то есть до такой степени, что можно подумать, что он станет чем-то большим, нежели основания, имевшиеся у него одерживать верх, означал бы неизбежное возобновление препирательств, нетерпимости и протеста. И изо всего, чего капитал мог опасаться сильнее всего, — *моральных* препирательств, нетерпимости и протеста.

Ведь мечта, которую развивал капитал (и которую он втайне желал, чтобы развивали вместе с ним другие) все время, пока он противостоял коммунизму, то есть все время, пока коммунизм худо-бедно ему сопротивлялся, заключалась в том, *что он морален*. Капитал был, конечно же, морален, что было с коммунизмом во все времена, пусть даже обманчиво, но он был морален не до такой степени, чтобы его моральность уцелела после только что одержанной им победы.

Чтобы капитал выглядел моральным в момент этой победы (я уточняю, чтобы эта победа не выглядела как-то иначе, аморальной), требовалось, чтобы она не выглядела политической. Это второе из того, на что мы обращали внимания все время, пока его отвращали крайне правые: дело не только в том, что капитал старался больше не иметь альтернативы, но и в том, что сам он старался больше не быть политикой.

И задним числом среди прочего становится понятно следующее: капитал поддерживал крайне правых вовсе не для того, чтобы в надлежащий момент получить от них такую же поддержку, как и в прошлом. Он их поддерживал, я уже говорил, чтобы отвлечь наше внимание. Но главное, он их поддерживал, чтобы питать необходимое ему презрение к политике; и заведомо знал, какую он из этого получит выгоду в надлежащий момент. Эта выгода была бы только больше, если бы он со своей стороны старался выглядеть всем чем угодно, только не политикой. Требовалось, чтобы он не выглядел политикой, ведь то, над чем он восторжествовал, восторжествовав над коммунизмом, оказывалось самой что ни есть политикой и претензией, по меньшей мере, ошибочной, возможно, преступной, которая у нее всегда была, на то, что это ей демократическим путем решать о том, что должно быть.

Весьма необычный и весьма значительный труд, в который впрягся весь капитал — при полном безразличии чуть ли не всех, кто мог бы ему воспротивиться, — был нацелен на то, чтобы демократию и политику больше не различали.

Это была, по меньшей мере, абсурдная, возможно, преступная политика, желавшая, чтобы люди сами решали судьбу, каковая столь решительно, столь настойчиво делала их или покорными, или несчастными. Капитал противопоставит и покорности, и несчастности некую данность, которую никто не сможет обвинить в том, что она недемократична, как только демократия не будет больше нужна; как только претензия капитала на то, что все потребности будут удовлетворены, сбудется на самом деле (на что демократия не могла бы претендовать).

Чего бы это ни стоило тем, кого забота о демократии меланхолично подвигала к необходимости признать, что того, что потребности будут удовлетворены, еще не достаточно для того, чтобы никто не стал бы призывать *ни к какой другой демократии*.

В эти годы власть и перешла из рук в руки. В эти годы ей пришлось, по меньшей мере, покинуть те руки, что предоставляла ей демократия (в прежнем смысле этого слова). Нужно было продолжать голосовать. И это еще долго продлится. Но уже не для того, чтобы какая-то демократическая власть проводила политику, которую от нее ждут или будут ждать те, кто ее избрал.

Политическая власть не просто так перешла из рук в руки. Она перешла из рук в руки ради того, чтобы руки, в которых сосредоточены деньги, и руки, которым случалось решать все то, что могла еще решить политическая власть, были одними и теми же. *Никогда еще люди не знали столь мало демократии, как с тех пор, когда больше никто не боится, что демократии может кто-то угрожать*. Парадокс, по которому узнается это время. По которому узнается, чем оно отличается от прежних времен. Парадокс, который обретает весь свой смысл в том случае, если ему придать форму, которая может показаться крайностью лишь тому, кто думает о политике лишь от случая к случаю: демократия исчезла в тот самый день, когда не нашлось больше никого, кто был бы не согласен с тем, что она одержала верх над самой большой угрозой из всех, которые над ней нависали. И возможно, над всеми угрозами, которые были на это способны. Об этом придется говорить еще долго.

Нужно ли было подпевать тем, кто пел в 1989 году на развалинах Берлинской стены? Само собой. Только вот следовало бы представить себе, что разделение, с которым покончили — неожиданным образом для одних, чудесным образом для других, — замкнуло существовавший мир такой оградой, ввне которой отныне ничего не будет. Это — очевидность, которой тогда все радовались, совершенно не думая о том, а что могло получиться из этого мира, который начинается с конфронтации с самим собой. Мира, которому не с чем, помимо самого себя, быть в конфронтации. Который вдруг теряет возможность, чтобы его судили извне. Из которого нет ни малейшего выхода. Даже воображаемого.

Тон задавали журналисты, мировые средства массовой информации. Это было первое событие, когда увидели, что средства массовой информации уже стали мировыми; то есть это первое событие, когда можно было увидеть, как они всему, что сообщают, придают этот характер, завязанный, как теперь известно, на всемирности, или мондиализации.

Мондиализации, то есть самом великом благе, настоящей добродетели (своего рода трансцендентности, притом что в этот момент мир переживает совершенно обратное: исчезновение самой возможности трансцендентности). Средствам массовой информации мы обязаны тем, что говорилось тогда и всегда повторяется, когда им вдруг кажется, что под угрозой сама мондиализация (мондиализация под угрозой и тогда, когда средствам массовой информации кажется, что их судьба под угрозой, что под угрозой истина, которую они устанавливают). Средства массовой информации, подчиняясь, как всегда, диктату господства, высказали тогда не то, что свобода существует — капитал навязал это ущемленным массам, — а то, чего этим ущемленным массам хотелось и что будет служить моделью всякого рода свобод, которыми будет наделять их капитал.

Крах коммунизма не был политическим (не правы, кто так полагал). *Политический* крах коммунизма произошел много раньше, и лучшие страницы истории этого краха относятся к истории действительно политических оппозиций, которые коммунизм начиная с двадцатых годов без конца порождал.

Как раз наоборот: просто хотели уничтожить историю, которой стыдились из-за того, что действовали не так, как надо было. И в самом деле действовали не так.

История, которой стыдились, была не *коммунистической историей* (что тем не менее без конца повторяли, кичась полной да еще нечаемой победой), но *самой Историей*. Слишком удобным был случай, раз уж коммунизм рушится, покончить сразу, покончить с единого маха и с той историей, которую так глупо выставлял на всеобщее восхищение коммунизм, и *со всей историей вообще*.

Давайте отныне будем говорить, что настойчивая потребность порождать историю была коммунистической: разве этого мало, чтобы всякая история сразу становилась коммунистической и подсудной?

Так и сделали. Не принимая в расчет все те истории, которые писались наперекор коммунизму или даже во имя некоего коммунизма, не предавшего надежды, которую нес в себе.

Капитал не имеет истории, понятное дело. Ни сражений, ни надежд; никаких фактов, которые мог бы затребовать судья. Все время, предшествовавшее падению коммунизма, и многие годы после падения Берлинской стены — ничто не вызвало бы большего смеха, чем такая претензия: капитал судили за то, что он собой представляет.

Но потом — после крушения коммунистической надежды, которую столь убого поддерживал сталинизм среди всех тех, кто не мог иметь других надежд, для которых надеждой был только он, и после падения Берлинской стены, — потом все шло к тому, что капитализму уже нечем было похвастаться.

Ведь никто не погиб в сражениях, поскольку капитализм их не вел? Это был знак того, что он рожден, чтоб никто не умирал. Ведь никто не обманулся в надеждах, поскольку их не порождал и не поддерживал? Это был знак того, что он сам по себе — каким бы желанным ему ни хотелось стать — не давал никакой гарантии будущего.

Капитал есть то, во что никто не вкладывал своей надежды, пока существовала та надежда, которая была вложена в коммунизм.

Но вот случилось так, что даже эта поддерживаемая одним отчаянием надежда оказалась не в состоянии помешать тому, чтобы капитал и ее стяжал, ведь он все может стяжать. Среди всех уроков, которые способен дать капитал, есть и такой: нет такого отчаяния, которому он не дал бы утешения, не принося при этом никакой надежды.

Чего в 1989 году хотели эти несущиеся толпы: насладиться тем, что вскоре им должен предложить капитал, пусть даже им пришлось бы насладиться этим за счет западных толп, которым платили (и не очень много), чтобы было понятно, что наслаждаться особенно нечем. То есть немногим больше того, чем коммунистические толпы насладились от коммунизма (включая и надежду).

Капитал, к которому устремились эти и впрямь несметные толпы, всем своим ходом вдруг поворачивая вспять то движение, от которого, как считалось, зависела сама судьба Истории, капитал этот знал, что теперь ему уже нечего бояться, что его будут судить за то, чем он до сих пор был, ведь отныне его будут судить по тому, чего ожидали от него те, кто к нему устремился.

Стало быть, эту войну, нацеленную на гибель коммунизма, он поддерживал не зря; он поддерживал ее не зря, ведь теперь вместе с коммунизмом гибла война, к которой он сам и призывал. Пройдет еще много времени, прежде чем люди поймут, какова цена тому, что любая оппозиция капиталу могла быть сведена к той, на воплощение которой претендовал коммунизм. Следовало бы знать: коммунизм — в его советской форме (то есть во всех тех формах, в которых коммунизм себя скомпрометировал и в конце концов уничтожил), — малодушно сложив оружие, довел все до того, что не могло быть больше никакой оппозиции капиталу, которую тут же не наделили бы всеми грехами, числившимися за коммунизмом. От этого фальшивого сальдо не отделались до сих пор. Виновными себя признают даже те, кто не верил, что коммунизму есть что противопоставить бесчестью капитала. Они признают себя виновными за бесчестье, которого не совершали и которое на деле ничуть не больше бесчестья капитала.

Воплощавшаяся в коммунизме мечта, была, конечно же, преступной; но разве этого достаточно, чтобы говорить то, что с тех пор только и говорят: что всякая мечта преступна? И чтобы больше не говорить, что капитал тоже преступен.

Коммунизм не хотел того, за что на него теперь возлагают ответственность; в отличие от капитализма, который хотел всего того, за что его не обвиняют. Из всех обманов зрения, которыми любит тешить себя история, этот обман самый поразительный.

Пусть судят, конечно, поскольку нет никого, кто не любил бы судить и не считал бы, что у него есть на это право. Но об этой истории судить будут скверно или неверно до тех пор, пока коммунизм будут судить, исходя из того, будто он был рожден для самого неистового отрицания; и пока капитализм будут судить, исходя из ценностей, которые он стал отстаивать лишь после того, как долгое время их цинично отвергал.

Ценностей, которые ему, конечно, хотелось бы видеть как ценности победившей истории, тогда как это всего лишь ценности истории, навязанной им самим.

Тем не менее еще не факт, что капитализм выиграл все, заставив «проиграть» то, чему он самым решительным образом противостоял.

Есть, по крайней мере, одно, в чем он не выиграл. В чем даже проиграл. Он упустил возможность, какую ему предоставляло лишь то, чему он противостоял: не быть самому судимым, ведь он сумел превратить себя в верховную судебную инстанцию, которой подчинялся коммунизм. А теперь он сам подчиняется тем доводам суда, которым подчинял коммунизм. Другими словами, если допустить, что никто не мог судить его в течение последних пятнадцати лет существования сталинизма (пусть и в его конечной ревизионистской форме), то совершенно ясно, что теперь ему предстоит судить самого себя, дабы не обнаружилось, что имевшиеся у него основания судить коммунизм так строго, как он его судил, относились не столько к морали, сколько к корысти.

Все идет очень быстро. И не приходится сомневаться, что как люди не увидели, каким образом капитализму удалось столь безраздельно восторжествовать, так они и не видят, какой ценой придется за это расплачиваться. А ведь это самое интересное. Пусть корысть в какой-то степени и входит в эту вековую вражду, взывали, все-таки, к невиновности.

И это было, конечно, справедливо! То есть разве капитал не поощрял, чтобы коммунизм судили исходя из ценностей, которые он провозглашал своими? И его теперь так судить? Тогда надо было, чтобы он в свою очередь готовился к тому, что его будут судить, исходя из ценностей, которые он противопоставлял коммунизму. Вот этого-то он и боялся больше всего.

Разумеется, он не обещал ничего, что позволило бы, чтобы его судили, сколь велико бы ни было разочарование. Но ведь он-то судил. Впрочем, на меньшее он, наверное, был и неспособен.

На меньшее он был неспособен, но и это уже было слишком. Слишком, поскольку ему пришлось бы в любую минуту столкнуться с осуждением, которому отныне все вправе были его подвергнуть. Слишком, поскольку ему самому пришлось бы чистосердечно проявлять ту самую невиновность, за неспособность воплощения которой он обвинял коммунизм. Однако прекрасно известно, что если коммунизм может быть виновным и если он в самом деле был виновен, если он виновен, ибо то, что из него вышло, обмануло ожидания, которые он внушал, в том числе ожидание равенства, то капитал не мог претендовать на невиновность, ибо его принцип исключает саму идею всякого принципа, *a fortiori* принципа равенства.

Вспоминается, какому очевидному ликованию предавались сбитые с толку толпы (оттуда, отсюда) в 1989 году; можно себе представить, какому тайному и, конечно же, безмятежному ликованию предавался в это время капитал.

Разве не полной была победа? Полнее не бывает: не оставалось ничего, что не было бы под его контролем.

Нашелся даже один американский идеолог (из Государственного департамента), Фрэнсис Фукияма, который, предаваясь обратнаправленному профетизму, писал, что ничего уже не произойдет, что все уже произошло. Конец истории *par excellence*.

А разве не наступил конец истории, если уже ничего не должно произойти? Вот доказательство, к которому прибегал этот идеолог и к которому прибегают все, кому хотелось бы, чтобы восторжествовала идеология, от имени которой он выступал. То ли для того, чтобы охватившее толпы ликование получило свое оправдание. То ли потому, что нет ничего менее привычного для капитала, чем охваченные ликованием толпы.

Ликование продлилось, однако же, недолго. Протерев глаза, эти толпы скоро увидели, что между ними и тем, что имели толпы по ту сторону бывшей стены, лежала пропасть, непроходимость которой не могла быть заглажена никаким взаимно коллективным переделом. Тем более что коллективистское разделение, которое их расслоило, было сделано с умыслом. Тогда эти толпы быстро рассеялись, оставшись наедине со своими собственными демонами.

Такая, наверное, у Европы судьба — время от времени возвращаться к собственным демонам. Но судьба капитала предоставила ей возможность обнаружить для себя новых демонов. И среди всех демонов, которых ей удалось в это время для себя обнаружить, выделяется сам капитал, ведь он приобрел такой размах, что судит самого себя; и чтобы его судить, существуют только его собственные ценности.

Никто, кроме него самого, не будет судить о том, что было, если, конечно, не останется ничего, что было бы ему неподвластно и при помощи чего его еще можно судить. И это самая подлая ловушка. То есть капитал готов был попасться в ловушку, заключающуюся в принципе осуждения, сформулированном им самим исключительно в идеологических целях; но ведь отныне этот принцип становится единственным принципом осуждения — единственным принципом, которому должны починяться все без исключения, в том числе и он. Эта ловушка была для него сущим адом, к которому столь полная победа его никак не подготовила. Ему пришлось бы к себе применять критерии, которые он прежде, кривя душой, применял к другим: идет ли речь о свободе, во-первых; или о равенстве, во-вторых. Идет ли речь и о том, и о другом, разом, об их соответствии. Понятно, что мир, где будет править капитал, станет свободным, но ведь еще требуется, чтобы он *сверх того* был равноправным. Это требуется, поскольку ведь уже не будет коммунизма, который мог бы напомнить капиталу, что не может быть свободным мир, который по сущности своей не был бы также и *равноправным*. Вот где коммунизм потерпел поражение — в согласовании первого и второго; добившись даже, что ни первого, ни второго не было, что якобы доказывало, что капитализм не потерпит поражения. Но это значит, что там, где коммунизм потерпел поражение, он и восторжествует — посмертно.

Грядущая беда капитализма заключена в овладевшим им желании того, чтобы люди верили в то,

1) что можно ничего не скрывать;

2) что доказательства тому необходимо предоставлять повсюду и ежемгновенно;

3) что такое доказательство, коли его можно предоставить, свидетельствует в его пользу.

(Само собой разумеется, что невозможно предоставить такое доказательство; что не мешает капитализму полагать, что только оно может его спасти).

У коммунизма была своя история, и никто не отрицает, что это было жесточайшее разочарование. У капитализма есть своя: но ни у кого нет уверенности в том, что она не станет менее незавидной. Сейчас вопрос заключается в том, чтобы понять, является ли прозрачность, на которую с детской доверчивостью соглашается капитализм, самой хитроумной из всех, что он изобретал до сих пор, уловок или же это придуманный насмешки трюк, нацеленный на то, чтобы его в свою очередь не принялись судить.

Вопрос остается открытым.

Поначалу возникает соблазн предположить, что капитал второпях согласился на эту жалкую защиту, благодаря которой он мог на какое-то мгновение вообразить, что никто не будет сомневаться в том, что самого себя он будет судить с той же самой непримиримостью, с какой некогда судил коммунизм (и с какой он судил измены, в которых обвинял коммунизм, когда на самом деле хотел лишь следующего: чтобы тот себе не изменял). В общем, можно думать, что он, принося в жертву кое-кого из своих и кто этого, несомненно, заслуживал, работал на то, чтобы доказать невиновность, присущую только ему.

Не приходится сомневаться, что какое-то мгновение он мог в это верить и что вместе с ним в это поверили первые из тех, кем он пожертвовал. То есть и те, и другие, наверняка, пришли к согласию, что «свободы», дозволенные войной «за свободу», предпринятой против коммунизма, продолжаться больше не могут.

То ли потому, что требовалось, так как война была окончена, чтобы капитал был на высоте своей нечаемой победы; требовалось главным образом, чтобы он был на высоте принципов, во имя которых, как он полагал, одержал эту победу. И отныне будет требоваться, чтобы все, кто выдаст его естественные приемы — то ли из-за того, что делал слишком очевидными цели, с которыми, разумеется, они по-прежнему были связаны, — не могли более претендовать на то, чтобы входить в число тех, кто представлял и в будущем будут представлять мир, в порядке вещей ставший *моральным*.

В сердце того, воплощением чего, как известно, втайне хочется быть капиталу, лежит мораль. Которую ему хочется воплощать, хотя бы даже потому, что из-за измены ей проще всего будет осудить встававшие перед ним альтернативы.

Иначе говоря, не так уж важно, как это может показаться поначалу, чтобы капитал доказал, что он является *самой эффективной* из всех экономической системой. Самое важное в том, чтобы он доказал, что из всех экономических систем он является *самой моральной*. Мало было, чтобы коммунизм признал, будто в вопросе о свободе капитал оставался тем, лучше чего не могли себе представить массы; коммунизму следовало также признать, что ничего лучше капитализма не было *даже* в вопросе о равенстве.

Понятно, что тот, кто был сражен в этой смертельной схватке, был уже не в состоянии породить утверждение, которое отрицало бы это хоть сколь-нибудь существенно. Поэтому хватило и того, что тот, кто восторжествовал, выдвинул к своей выгоде утверждение, которое, впрочем, тоже не вызывает доверия.

Прозрачность, которой так хочется капитализму, хотя и не всегда понятно, почему, в отношении которой считается, что он ее хочет, в том числе и ценой опасности, которую она для него представляет, прозрачность — это очередная проделка, до которой он додумался ради того, чтобы не утратить всегдашнего блеска, по которому его судят и по которому признают его превосходство. Другими словами, прозрачности, какой бы непостижимой она ни казалась, то есть как бы ни казалось, что она вредит даже тем, кто вернее всех прочих служил замыслам, от которых, как известно, капитализм никогда не отступает надолго, прозрачности этой — из всех испытаний, через которые пришлось пройти капитализму ради того, чтобы на его пути не осталось никакой враждебности, — задним числом с полным на то правом можно приписать самый высокий коэффициент двурушничества. Поскольку ничто другое не было столь преднамеренным. Поскольку ничто другое не было столь невосприимчивым к противоположным точкам зрения. Чтобы коммунизм утратил всякую привлекательность, капитализму следовало утратить всякую таинственность. То есть следовало, чтобы капитализм обнаруживал ту же возможность невиновности, которой долгое время несправедливо наделяли коммунизм. И тогда с тем, над чем восторжествовали, на долгое время будет покончено.

А ведь эта история не так уж закончена, как то невозмутимо предполагали журналисты. То есть от капитализма будет зависеть, продолжится ли она так, как ему хочется. Разве можно было хоть капельку верить, что прозрачность (газетные «дела»), — которой, как можно было думать какое-то время, подчинится как какой-нибудь внешней силе весь капитализм, — заставит его

сложить оружие на том же поле, на котором сложил оружие коммунизм. Если поверилось, то следовало признать очевидность. Поле «дел» и «прозрачности» было выбрано самим капитализмом. И конечно же, не для того, чтобы сложить оружие, а для того, чтобы завладеть тем оружием, которое еще не было сложено его противниками.

Из всех галлюцинаций, которыми изобилует история этого века, данная отнюдь не является самой захватывающей. Но даже не являясь самой захватывающей, она все равно является самой эффективной. Все дело было в том, чтобы деньги, во имя которых до сих пор все сражались, перестали казаться тем, чем они были: могуществом, в котором все решала сила; чтобы они казались самой справедливостью, даже более того.

Иначе говоря, эту жажду справедливости, в удовлетворении которой потерпела крах альтернатива капитализму, предстоит удовлетворить самому капитализму, причем в самом ходе своего развития и на тех же самых основаниях, на которых он торжествовал. В конечном итоге следовало, чтобы все, что представляли собой деньги, и все, что вытекает из обладания деньгами, оказалось тем, чего хотят во всех уголках мира, наконец-то подчиненного их правилу, и чтобы никто даже заподозрить не мог, что такое положение дел кому-то *a priori* причиняет ущерб.

Тогда вдруг перед всеми, кто зарился на деньги, они предстали тем, чем можно было по справедливости, которая, как ожидалось, будет восстановлена, ответить на предполагаемое равенство потребностей. Понятно, что тогда никто не потерял рассудка; но никого и не нашлось, кто бы подумал, что справедливость может зависеть от чего-то другого. Деньги, которые до сих пор были виноваты во всем, что было, не сегодня-завтра превратятся в то, в силу чего вообще никого не в чем будет обвинять. Среди всех трюков, провернутых капитализмом на своем веку, этот поворот был самым решительным.

Останавливалась ли на этом история? Или же начиналась другая?

История, начало коей положили деньги, и игра, которой они потакают?

Не приходится сомневаться, если судить по тому, что вдруг о них стали говорить и по чему можно было удостовериться, что им больше нечего уже противопоставить. Хотелось *денег*? Хотелось, чтобы ничего, кроме них, не было? Хотелось. Хотелось, чтобы они решали во всем, что было, лишь бы при этом забылось, что решать иначе было невозможно.

Случилось так, что ничего, кроме денег, не осталось и что это — что ничего, кроме них, не осталось — считается победой, тогда как это следовало бы рассматривать как поражение. Самое тяжкое из всех. Поражение революционного протеста.

Люди перестали быть революционерами, понятно. Нет никого, кто не перестал бы; и нет никого, кто стал бы отрицать то, что революционеров больше нет именно из-за денег.

Денег, посредством которых то, что не должно было произойти, произошло, пусть даже произошло это в форме подмены или измены. На самом деле верили, что революция возможна? В этом случае больше уже не верят.

Не верят так, что это еще свидетельствует в пользу революции? Нет. Просто не верят, со всем цинизмом, имеющимся в безверии.

Утрата веры в революцию не для всех стоила одинаково. Для большинства столь значительное разочарование не повлекло за собой значительных неудобств. Революция, понятно, не принесла бы того, о чем все мечтали, но как знать, не сможет ли то, что не принесла революция, принести капитал?

Должно быть, этот вопрос вставал перед теми, кто на него уже ответил во всеуслышанье. В противном случае было бы непонятно, что все они выбрали капитал — у всех на виду выбрали, — не соблаговолив нам сообщить, что их выбор вытекал из-за того, что изменилась их вера.

Или же они не меняли веры. Изменили, самое большее, средства, чтобы достичь своего. Надо, чтобы люди так и думали, если им не хочется верить, будто они отказались этого достичь. И у всех на глазах они с величайшей решительностью стали трудиться над тем, чтобы всплывало то, что они решили называть и что следует называть с ними вместе, «делами». Мы не хотели ни денег, ни режима, в котором правили бы деньги? Хорошо, но не старайтесь убедить нас, что нам нужно желать денег, просто поддерживайте, когда мы разоблачаем тех, кто нажил свои деньги, поправ равенство, ожидать которого от мира, где правят деньги, могут все как один. Из всего, что нам могло быть дано узнать и пережить, это самое возмутительное.

Что иные отрекались, у всех на виду отрекались, отрекались у всех на виду не за просто так.

Ничего уже не могло оправдать их существования с тех пор, как перестала оправдывать его революция? После деньги будут оправдывать их в точности так, как *прежде* оправдывала революция.

С того момента, как речь зашла о прозрачности, она зашла, хотя это и не сразу было понятно, об этом равенстве, которому капиталу приходилось себя подчинять, препятствуя тому, чтобы некоторые, используя методы, благодаря которым им всегда удавалось его накапливать, заставили в ней усомниться. Скорее уж расстаться с ними, принялся твердить капитал (но ведь чтобы такое сказать, требуется определенная театральность, на которую, как известно, этот цинизм не способен), чем дать место сомнениям. Слишком много времени ушло на то, чтобы деньги могли стать этой верой, которой они стали, чтобы циникам из циников позволить и дальше питать какие бы то ни было сомнения.

Понятно, что возникла необходимость во всякого рода мерах. Начиная с их устранения и вплоть до провозглашения хартии, которая будет играть роль программы: именно тогда и появилась идея «честного капитализма» и «этичных пенсионных фондов», притом что ни у кого, кто ни за что в мире этому не поверил бы, она не вызвала смеха. Честный капитализм — это, выходит, такой капитализм, который не позволяет, чтобы кто-нибудь обогащался незаконно, в обход правил, обеспечивающих справедливость принципа распределения денег в капитале.

Честный капитализм предполагает также, что никто вопреки своей воле не будет отчужден от производства благ, которыми капитал, конечно, мог бы обогатиться, если бы не следил за тем, как бы ему не обогатиться против правил, вытекающих из этики, которой, как теперь говорится, подчиняется капитал. И отныне будут заявлять, что «честный капитализм» упорно отказывается пускать в оборот хоть что-нибудь из того, что могло быть произведено не «свободно»: детьми или политическими заключенными. Это, конечно же, пик притязаний капитала. Не нашлось, правда, никого, кто захотел бы вознести капитал до этого пика, предполагавшегося самой победой капитала. Отныне будут положены пределы эксплуатации: дети, заключенные (по крайней мере «политические») будут от нее избавлены.

Но ведь это лишь для того, чтобы никто не сомневался, чтобы никто больше не сомневался, если и были какие-то сомнения на этот счет, что другие, ну те, которые не дети и не заключенные, свободно трудятся на процветание, к которому привязывает их капитал, одновременно привязываясь к нему и сам. Пусть даже привязываются к нему без учета порогов бедности, исчисляемых даже и по нормам промышленно развитых стран.

Это была операция какого-то нового и, наверняка, прежде не достигавшего такой степени цинизма. Но это была также и сама по себе новая операция, причем во многих отношениях не все из них объясняются цинизмом.

Дело не в том, будто все, кто так поздно причастился к достоинствам капитализма, кто к ним причастился после того, как годами напролет их обличал, вдруг причастились к цинизму, на который капитал способен в любую минуту. Только вот они приписывают ему добродетели, на которые сам он притязает не без страха.

Несомненно, капиталу хотелось господствовать. Несомненно и то, что ему хотелось, чтобы господство, которое, как ему было известно, могло остаться за ним, не оказалось отягощенным старыми предрассудками... Но чтобы надеяться на то, что даже сражавшиеся с ним самым жесточайшим образом сделают его моделью того, во что, согласно их собственному желанию, должно верить... Это стало откровением для самого капитала. Деньги уже не обвинишь, если их не обвиняют те, кто их прежде обвинял.

Того, что капитал, несомненно, переживал обращение, не увидели; зато увидели, что те, кто сражался с капиталом, обращаются в его веру. Это обращение взывало не к тому капиталу, каким он был и оставался, но к тому, каким им хотелось его видеть. Из всех форм обмена власти, которые имели место в недавнее время и от которых зависят формы самого господства, данная форма представляется самой необычной.

То есть следует понимать, что те, кто вдруг стал перевозносить достоинства капитала, перевозносили их на тех же основаниях, на которых с ними прежде сражались. И как раз это никому и невозможно поставить в укор. По крайней мере, так кажется. Иначе говоря, исходя именно из непреодоленной до конца революционности и произошло такое взвинчивание ценности капитала, на которое сам он не мог даже надеяться.

Конечно, чего только не противопоставляют власти, чтобы она стала лучше, хотя на самом деле это не улучшает ее и даже не предполагает этого. Хочется, чтобы капитал не обманывал? Но это значит хотеть, чтобы люди верили, будто есть такой капитал, который не обманывает.

Хочется, чтобы все могли видеть операции, при помощи которых закрепляются капиталистические процедуры, но это значит хотеть, чтобы считалось, будто по природе своей они не являются незаконными. Хочется, чтобы судьи обладали властью вызывать в суд депутатов, но это значит хотеть того, чтобы власть судей не была оспорена в суде никаким депутатом; и никаким избирателем.

Вот с каким поворотом дел нам приходится считаться: прежде само обладание властью было подозрительным; никто не обладал такой властью, которая могла бы избежать подозрений; под подозрением были и условия, в которых кто-нибудь обретал власть, и то, что он с ней делал. Теперь правилом стало обратное: нет никого, кто имел бы власть и не хотел, чтобы все видели, что он ее имеет. Поскольку между делом произошло, притом что никто не обратил на это внимания, следующее: нет ничего более желанного, чем обладать властью, когда нет ничего, что было бы желанно так, как та чистота, которую завоевала себе власть.

Иначе говоря, теперь именно от власти зависит эта чистота, которую прежде повсюду на правах собственности пыталась сохранять в себе революция, будучи не в состоянии хоть где-нибудь ее установить. В этом причина того, что вся власть на наших глазах впрягается в эту беспредельную задачу: доказать, что она чиста, чтобы доказать, что она представляет собой то, что должна представлять собой всякая власть (а заодно, что она и представляет собой *всю власть*, ведь только она чиста).

Нет ничего, чтоб все не принимали бы так близко к сердцу: доказать, что нет ничего невозможного в том, что ты обладаешь властью и остаешься при этом невиновным. На это можно справедливо заметить, что все стараются спасти самих себя. Но не достаточно будет сказать, что все стараются спасти политику, которую все они еще разделяют, тогда как ее уже (почти) нигде нет.

Капитал, который умел пользоваться защитой, предоставлявшейся ему с безупречной верностью консервативными силами, понял, что в тот самый день, когда рухнет всякая историческая альтернатива той власти, которой он обладал, ничто лучше не спасет «прогрессивные силы», как защита, за которую они в свою очередь примутся: защита самого капитала, пусть даже придется, что защищать они его будут в том числе и от консервативных сил. И трудно было бы сказать, что они не преуспели в этом. Что бесспорно и обнаружилось: желание прогрессивных сил защищать капитал лучше, нежели защищали его консервативные силы; не из-за того, конечно же, что они его сильнее полюбили, но из-за того, что для них это был единственный способ выжить после исчезновения той надежды, которую представлял для них коммунизм.

Странное соглашение, к которому, как можно было видеть, пришли почти все, заключалось в следующем: условимся, что господство будет неприкрытым, но при том условии, чтобы политика еще существовала. А если возможно, чтобы оно было обязано этим политике.

Но ведь очевидно следующее: нет ничего, что было бы чем-то обязано политике. Поскольку нет ничего, что не зависело бы от Всемирной торговой организации. В тот день, когда рухнула Берлинская стена, сколь жалок бы ни был мир, погребенный под нею, торговля сразу поняла, что располагает пространством, которое уже ничто не ограничивает. Что, напротив, ничто больше не воспрепятствует ей всем управлять. Всемирная торговая организация стала обговаривать условия торгового обмена подобно тому, как раньше обговаривали условия суверенитета. Нет никакого сомнения, что суверенитеты, которые определялись прежде при помощи политики, были абсурдными или отжившими свое; суверенитеты, в которых отныне все будет решать то, что приходит на смену политике (то есть торговля), будут циничными. И жестокими.

Капитал выпутался из этой игры с выгодой для себя.

Дошло до того, что люди не помнят, что капитализм все равно остается идеологией, как был идеологией коммунизм. Что это такая же идеология, как коммунизм. Дошло до того, что не помнят, сколько мертвых на счету капитализма. Вот ведь как вышло. Странное дело. Вышло так, что в истории наступил такой момент, когда мертвых считают только с одной стороны.

Именно это и требовалось: чтобы люди посчитали. Требовалось, чтобы все те, у кого был прямой интерес дискредитировать революции, могли сказать, сколько мертвых на счету революций. Чтобы в конечном итоге сказать, что мертвые только на счету революций. Что революции возможно распознать именно по этому признаку: числу мертвых на их счету.

1989 год: контрреволюция *par excellence*. Не то чтобы эта контрреволюция покончила с какой-то там имевшей место «революцией» (о «коммунистической» и говорить не приходится), нет, она покончила со всеми сразу. Именно такой смысл следует придать ликованию, которое с тех пор не покидает всех тех, кому ненавистна сама идея, что может иметь место революция — где бы то ни было и в какой бы то ни было форме.

Эти толпы, что у всех на виду возвращались из «ада», с трудом вышагивая по направлению к тому, что, как им грезилось, даст им капитал, чтобы восстановить справедливость, что было у них на устах, как не эти слова: нет такой революции, из которой не хотелось бы вернуться. Нет такого движения, несущего к какой бы то ни было революции, в котором не пришлось бы когда-нибудь униженно раскаяться.

В противном случае, почему же этим толпам быть столь униженными? И почему столь настаивали (западные медиа) на униженности, которую они обнаруживали? Чтобы люди поняли, что революции сами по себе являются унижительными. Что не достаточно, чтобы люди не хотели революций; требуется, чтобы они не могли их вынести. Не слишком ли долго выносили их эти толпы, так что даже униженность, которую они демонстрировали, не показалась лживой или недостаточной.

Им за это оплатят, и в самом деле надолго.

Господство сегодня — это, конечно, капитал, но капитал не только это. Капитал представляет собой также то, чем он стал благодаря прозрачности. О том, что такое капитал, и том, чем он стал в силу прозрачности, можно наговорить много и мудро. Можно также сказать что-то вполне определенное.

Например, следующее: о господстве, в том его виде, в каком оно установилось благодаря прозрачности, позволительно сказать, что оно представляет собой такой денежный режим, при котором все согласны с тем, что некий режим регулирует сегодня распределение власти. До сих пор хотелось, чтобы не было иной власти, кроме как в согласии с режимом, решение по которому было принято теми, кто его выбирал? С этим покончено. Отныне любая власть будет такова, как то решат деньги — с того самого момента как прозрачность призвала судей, магистратов, журналистов решать и утверждать, какова мера легальности власти. Более тяжчайшего политического злодеяния в истории не было.

Но и этого мало. Мало сказать, что в силу злодеяния, вина за которое лежит на деньгах, потерпела крах демократия (впрочем, так никто и не говорит, говорят прямо противоположное). Все гораздо хуже.

Именно те, кого демократия никогда не удовлетворяет, и представляют сегодня для нее самую большую угрозу. Именно те, кто жарче всех все время протестовал, утверждая, что такая демократия не может не быть формальной, делают все, что только можно сделать, для того чтобы она и не претендовала на большее, кроме как на формы, по которым ее распознают и идентифицируют.

Чего они хотят? Они хотят прозрачности — и дня не пройдет, чтобы нам об этом не напомнили. И кому же предписывают они эту прозрачность? Всем, понятное дело, но прежде всего тем, кто располагает денежными средствами. А зачем им надо, чтобы прежде всего те, кто располагает денежными средствами, шли на эту прозрачность, которая столь чужда привычкам, вскормленным деньгами? А затем, ясно ведь, чтобы никто не сомневался, что деньги тоже могут быть прозрачными. И не сомневаясь в этом, не сомневался в том, что именно при помощи денег возможно реализовать то, реализации чего все дожидались от революции.

(Отсюда же это очевидное желание капитала доказать свою добродетельность. Ведь для него важно отобрать у духа революции все располагавшие к ней мотивы. Но даже для добродетельного капитала далеко не все равны. Он лишь распространяет идею, согласно которой *рок равенства* тяготеет над всеми людьми, пусть и не всех в равной мере удовлетворяет).

Если их слегка к этому подтолкнуть, то они, конечно, станут утверждать, что хотят того, чтобы деньги были справедливыми. Из всех ответов, которых можно от них ожидать, такой, разумеется, не является самым прогнозируемым. Другими словами, они станут утверждать, что хотят, чтобы управление деньгами было справедливым и тогда-де будут справедливыми их распределение и разделение.

Но ведь все обстоит не так. И это всем известно. Нет никого, кто бы этого не знал. Никогда еще деньги не распределялись столь несправедливо, как с этого момента, когда те, кто ими обладает, для видимости согласились на честность и добродетельность, судьями коих мог стать каждый, причем в любое время. Честность и добродетельность, которые должны были у всех на виду засвидетельствовать праведность двигавших ими чувств. Важно ведь, чтобы именно эта честность и эта добродетельность не были поставлены под сомнение, и тогда под сомнение не будут поставлены и те, кто располагает деньгами, и дух справедливости, в силу которого они утверждают, что располагают ими с подобающей честностью.

И здесь также случилась задержка, которую необходимо сегодня разъяснить: почему никто не заметил, что те, кто делает деньги, делали все для того, чтобы деньги никогда *по природе своей* уже не выглядели преступными? Поскольку именно этот смысл задним числом следует придать тому, что произошло после 1968 или 1989 (без разницы, даты перекликаются): мало того, что деньги, посредством которых до сих пор измеряли доходы, тут якобы не при чем, они тут не при чем тем вернее, что это ведь свободы измерялись в это же самое время и по этой же самой цене, что и прибыли.

Установилось такое равновесие, согласно которому выходило, что деньги больше не представляют собой чего-то такого, что может угрожать *свободам*, наоборот, они представляют собой то, что, как тогда верилось, точь-в-точь — верилось, всем должно было верить, ведь так и было, — обеспечивает все свободы. Среди всех поворотов, которые нам пришлось пережить — в бессилии или ненависти, — такой поворот был самым решительным.

Конец идеологий, трубят во всех концах те, кто и в самом деле был якобы заинтересован в том, чтобы они кончились. Идеологии, однако же, не кончались: просто-напросто самые могущественные идеологии восторжествовали над теми, которые были уже не в состоянии действовать так, чтобы люди продолжали их выбирать. Было время, когда люди не хотели, чтобы деньги так давили на все, что было. Иные этого не хотели до того, что полагали, будто из всех времен, которые себе можно вообразить или которых можно опасаться, время, когда деньги будут править безраздельно и безусловно, будет самым худшим. Удивительно не столько то, что такое стало возможно; удивительно, что такое время могло наступить и заставить говорить о себе не то, что это самое худшее из всех возможных времен, нет, что оно самое лучшее.

Было время, когда превалировали старые представления, согласно которым считалось, что делать деньги — не просто легкое занятие, но легкое до того, что сам капитал был не в состоянии обеспечить, чтобы те, кто располагает деньгами, поступали по справедливости. Наверное, верх должны взять новые представления, доказывающие, что те, кто располагает деньгами, располагают ими по справедливости. Хотя бы для того, чтобы люди верили, во что все сразу и поверили, что деньги являются самой подходящей формой для определения справедливости и несения за нее ответственности. Без сомнения, ничего более несправедливого не было; и тем не менее большей справедливости уже не будет. Из всего того, что отныне будут говорить о деньгах, в будущем не будет ничего более решающего; то есть не будет ничего более подходящего, чтобы так *набить им цену*.

Справедливость, то есть по существу судьба. И с одобрением даже тех, кто справедливости в глаза не видел. Ожидалось, что от них придет это правило (как от неверующих ждут того, что они будут свидетельствовать в пользу существования Бога); от них оно и пришло. Устанавливая долю каждого в денежном обращении, которая сразу же превращалась в судьбу каждого. Чтобы развеять недоразумение, в силу которого деньги до сих пор считались чем-то неглавным или несправедливым и т. п., требовалось, чтобы они стали судьбой, на что раньше претендовал разве что коммунизм.

Считалось, что нет ничего легче, чем делать деньги? Пусть теперь считают, что нет ничего труднее. Даже свобода. Свобода, которую коммунизм столь лживо противопоставлял деньгам, не могла быть результатом более трудного завоевания, чем сами деньги, с того самого момента, когда стало нужно, чтобы люди перестали различать две разные судьбы: из всего того, что деньги способны породить вместо истории, свет увидит некая история, ведь коммунизм уже показал, что не в силах родить из себя какой бы то ни было истории, ну разве что трагическую.

Ясное дело, что никто не сомневался в том, что деньги свидетельствуют в пользу свободы (предпринимательства и т.д.). Но чтобы они свидетельствовали также — и на равных паях — в пользу равенства? Только то, что сам коммунизм долго и жестоко попирает равенство, объясняет, что деньгам удалось протащить столь неудачное доказательство.

Тогда важно было одной ценности противопоставить другую. Ведь если свобода стала образчиком всех ценностей, значит она и есть ценность как таковая? А теперь дело за тем, чтобы деньги встали на место, занимавшееся свободой в качестве высочайшей ценности. То же самое и с равенством? Но для начала надо доказать, что нет равенства без свободы, а свободы без денег. Конечно же, это первое условие — сказать, что деньги и есть свобода, ведь надо, чтобы люди верили. Но это уже говорили и предостаточно. Либерализм только об этом и твердил. Нет, требовалось большее.

Чему и способствовала прозрачность. Прозрачность способствовала тому, что с того времени говорят не только то, что деньги являются собственно ценностью свободы, так что нет больше свободы, которая не обменивалась бы по цене этой ценности, но и, сверх того, что деньги представляют собой то, благодаря чему нет больше равенства, которое не измеряло бы себя и не судило.

Это, конечно же, страшное недоразумение. Тем не менее не нашлось никого, кто не хотел бы на него поработать. Если судить по числу здравомыслящих, работающих на него, то из всех недоразумений, которым, возможно, благоприятствовала эта эпоха, это недоразумение — самое прибыльное. Кажется, что из тех, кто некогда протестовал против власти, которой располагали деньги, нет никого, кто не был бы готов защищать их с убедительной горячностью; такой убедительной, что кажется, будто сама справедливость заинтересована в такой защите.

И она, конечно же, в этом заинтересована, поскольку не осталось иной идеи справедливости, кроме той, которая задействована деньгами. Из всех справедливостей справедливость, которая обнаружила бы причастность к какому-то одному принципу, оказывается такой, что дальше всего удалена от обычно складывающихся представлений. Но не осталось никого, кто бы думал, что какая-либо справедливость зависит сегодня от какого-либо принципа. Не осталось никого, кто не позволил бы себя убедить, правда непонятно как, в том, что справедливость зависит лишь от количества денег, их изобилия, притом что распределяются они вовсе не по какому-либо принципу, а кому как повезет. Для большинства, для застарелой жадности, которую оно обнаруживает, вполне достаточно того, чтобы деньги были для всех, чтобы денег было достаточно, тогда все могут питать надежду, что и у них будет хоть самая малость.

Возможен ли чистый капитал? То есть такой капитал, который всеми своими растущими изо дня в день достижениями обязан тому, что может сделать каждый из тех, кто работает на него, подчиняясь только тем правилам, которые дозволены справедливой конкуренцией компетентностей? Именно на этом доказательстве, жестоком или смехотворном, это для кого как, все чаще строятся газеты. На том, что такой капитализм-де существует. *A fortiori* те газеты, что вдруг стали поборниками справедливости. Какую же справедливость они восстанавливают? Да ту самую, что предоставляет им капитал, порой и без их ведома.

Им хотелось, чтобы все было по справедливости? Самое большее, на что они способны, так это сделать так, чтобы все было по закону. То есть они направляют режим передачи прав на равенство, который сводится к режиму передачи прав на деньги.

Было ведь время, когда говорилось, что восстановленная справедливость была классовой? Говорилось, понятное дело. В этом случае достаточно будет, чтобы те, кто так говорил, стали говорить, что классов больше не существует, а правосудие совершается. Лучшего доказательства тому, что классов больше не существует, и не надо: *правосудие совершается*.

Кого задерживают, задерживая кого-нибудь, уличенного прессой или правосудием в незаконной деятельности (буржуа, депутата, предпринимателя)? По правде говоря, никого. Капитал никогда особенно не интересовался судьбой тех, кому обязан своим существованием. Кое-кто уверился, что может на тех самых законных основаниях, которые только и греются капиталу, взяться предоставлять себе такие свободы, что у людей могут возникнуть сомнения в том, что только он

способен гарантировать свободу? Принесем их в жертву. Бросим их на съедение тем, кто больше не в состоянии вести войну против капитала; пусть они по-прежнему думают, что набрасываются на капитал, тогда как на деле они набрасываются лишь на тех, от кого капитал с превеликим удовольствием готов избавиться.

В самом деле, капитал воспользовался случаем, предоставленным ему теми, кто некогда восставал против него, чтобы восстать (и составить свои правила) против тех своих сторонников, которые мешали ему претендовать на роль самой справедливой системы. По меньшей мере становиться таковой. Чтобы никто другой не мог на это претендовать. Тем более быть.

Могли ли те, кто отказался ниспровергать капитал, удовлетвориться его дискредитацией, доказывая, что не так уж он справедлив и чист, как ему хочется? Могли, достаточно только, чтобы капитал заодно с ними обнаружил стремление избавиться от эксцессов, компрометирующих его принцип справедливости.

Из всех противоестественных союзов этот союз самый совершенный. И несомненно, что заключен он был от чистого сердца. Еще до того, как те, кто менее всего был заинтересован в его заключении, разобрались, что он может им дать.

Если в отношении самых начал этого противоестественного союза и невозможно отбросить гипотезу о чистосердечии, то в отношении последующего хода событий невозможно этого не сделать. Тех, кто стал ее поддерживать открыто, причем не суть важно, они ли первыми ее сформулировали, можно и должно обвинить в заключении сделки. Это левые, понятное дело, поскольку они сами продолжают это утверждать. Даже крайне левые. Левые или крайне левые, все равно они продолжают делать в точности то, в чем крайне заинтересован крайне жестокий денежный режим. И будут продолжать это делать, не замечая, что продолжают делать как раз то, что необходимо для того, чтобы режим денег укрепился; и безоговорочно утвердился.

Господство является результатом этого невиданного в политике союза.

Как бы то ни было капитал был полон решимости одержать верх, пусть даже для этого ему пришлось позволить, чтобы были избалованы некоторые процедуры, которые выдавали его с головой. Вот почему он приложил к этому руку.

Приходилось делиться властью, о которой только и твердилось, что вся она принадлежит ему? Он поделится. Он поделится, и тем охотнее, что от этого передела власти у него ее не убавится. Наоборот, прибавится.

Власти прибавилось из-за того, что над ее укреплением трудятся теперь те самые люди, которые некогда оспаривали ее у капитала. Иные, правда, об этом не догадываются. Зато большинство делают это по доброй воле. Капиталу известно следующее: он сохранит свою власть, он даже ее приумножит, если, соблюдая ритуал, для видимости пойдет на ее разделение.

Поскольку в действительности капитал ничего не разделил.

Поскольку нет ничего, к чему он был бы менее всего готов.

Он готов к этому как нельзя меньше, поскольку прекрасно знает, что ему мало что угрожает.

В свое время Дебору довелось сказать, что зрелище стало лишь одним из средств, которыми располагает господство для преумножения своей власти. И что господство преумножает власть, используя уловки, в которые попадают все как один, даже и те, кто с виду остается революционером. Что ж, революция была уже невозможна? То есть не осталось ничего, в чем могло бы воплотиться желание революции? Не стоит даже говорить: удерживать то, что было, — вот что представляется революционным делом, ведь ничто другое им быть не может.

Необходимо сказать это, ибо никто об этом не говорит: прозрачность столь сильно заботилась тем, чтобы деньги больше не были подозрительными, вовсе не для того, чтобы те, кто ставит под вопрос власть денег, поставили под вопрос сами деньги; но для того, чтобы деньги оказались такими чистыми, что даже те, кто ими располагает, тоже очистились.

Прозрачность имела только одно следствие; *отмывание денег*. Иначе говоря, прозрачность — это мафиозное начинание. Не более и не менее. Зримая экономика последовала примеру теневой. Не то чтобы она позавидовала, что та остается в тени; нет, она позавидовала ее умению регулярно становиться зримой. В действиях громадных мафиозных групп зависть капитала вызывает как раз операция, при помощи которой они в тот или иной момент могут сделать зримым то, что прежде было в тени. Никакой мафии не придет мысль, что она должна стать прозрачной (вот в чем все мафии отстают от официальной экономики, которой они как могут подражают), но в реальную экономику такая мысль, частично заимствованная у мафии, пришла сразу после краха коммунизма: необходимо, чтобы деньги *показались*, тогда никто не усомнится в законности условий, в которых они были накоплены. И чтобы никто не подумал, что они были накоплены незаконно, необходимо, с одной стороны, усилить инстанции, которые вершат правосудие в отношении законности денежных доходов, и, с другой стороны, заинтересовать их дивидендами с операции, проделанной с целью обмануть почти что всех. Из всех операций, на которые пришлось пойти капиталу для того, чтобы уже ничто ему не противостояло, эта — самая замечательная. То есть замечательно не то, что ему захотелось, чтобы никто не усомнился ни в одной из форм, позволивших ему сформировать эти накопления; замечательно, что ему удалось в этом деле

заручиться самым непредвиденным сообщничеством. Сообщничеством тех, кто в первую очередь должен был усомниться в том, что капитал может стать чистым (этого хотеть и мочь). Тех, кто до сих пор с ним сражался.

Что капитал смог и что на самом деле приводит в изумление, носит имя, которое господству удалось стереть: отмывание. Судьи, журналисты (словом, господство, стоит им связать свою судьбу с судьбой капитала) хотят, чтобы капитализм был чист? Это значит, что они хотят, чтобы деньги, которыми располагает теперь капитализм, стали чистыми целиком и полностью. И в самом деле необходимо, чтобы они были чистыми, раз уж никто не должен сомневаться, что это режим чистоты правит капиталом, самым справедливым из всех, и потому что он является самым чистым (но легко догадаться по тому же случаю: ведь тогда сам режим чистоты будет вне подозрений).

Но тогда ему придется смириться с подозрением, что нет таких денег, которые нельзя было бы показать. Подозрением, ко всему прочему, не столько политическим или идеологическим, а юридическим. Из всего, что осуждалось еще совсем недавно, остается только следующее: *законность процессов вздорожания денег*. Поскольку никого уже не заботит их законность. Поскольку господствующий денежный режим, которым правит капитал и который больше не опасается, что какая-нибудь идеология что-то ему противопоставит, чего он опасался так долго, больше всего опасается непримиримых или подпольных режимов, которыми управляет мафия и число которых постоянно растет с того самого момента, когда системы установления происхождения собственности и денег были предумышленно выведены из строя благодаря действиям тех, кто нисколько не сомневался, что такое предумышленное выведение из строя пойдет им на пользу.

Другими словами, если капитал уже не знает врагов, которые могли выступить против него, он знает, что у него есть друзья, которые оспаривают занимаемые им территории. И конечно же, это для него совершенно новое испытание, к которому ему, понятное дело, вскоре захотелось подключить тех, кто совсем недавно к нему примкнул.

Что ему необходимо доказать? Все не то, что есть деньги и ничего, кроме денег; это доказательство было уже представлено. Доказать нужно, что есть деньги «деньги. Чистые и грязные. К чему стремился капитал с того момента, когда вбил себе в голову, чтобы славе его содействовало то, что более всего было в состоянии его оспорить? Он вбил себе в голову, что то, что более всего было в состоянии оспорить у него эту славу, будет вестись переделом денег и поднимет в цене правосудие, которое будет в состоянии вершить он один.

На это он по меньшей мере притязает. Выбирая между якобы несомнительными деньгами и сомнительными. Выбирая между тем, кем он может управлять, и тем, кто от него ускользает. Другими словами, на что работают судьи с того момента, когда стали работать на то, чтобы деньги были вне произвольного или идеологического подозрения, которое некогда над ними витало? На отмывание денег.

Судьи, журналисты — с того самого момента, когда принялись учинять эти чередующиеся процессы, одного обвиняя, другого оправдывая, — принялись внушать мысль, что в деньгах чистота чистоте рознь. Одна справедливая, другая несправедливая. Одна благовидная, другая неблагоприятная. Другими словами, одна из двух, притом та, которая обязана своими доходами возможности, обеспеченной тем, что система позволяет теперь, чтобы из нее извлекали доходы, якобы играла против правил, без которых пропадет сама возможность того, что доходы по-прежнему будут извлекаться.

Деньги, которыми обладает капитал и которые сегодня правят миром, так что невозможно где бы то ни было оспорить их власть, являются ничуть не менее грязными, чем они были всегда. Но хватило того, что журналисты, что судебные власти (все те, в ком полиция недавно обрела пособников), помогая финансовым организациям, о которых всем известно, что они только и делают, что защищают интересы создавших их лиц (например. Комиссия биржевых операций), принялись разоблачать незаконные денежные доходы (уже просто нет больших денежных доходов, в отношении которых не возникало бы сразу подозрения, что они являются незаконными), и сразу стало казаться, что любая прибыль, получаемая капиталом, тоже законна. Более того, что эта прибыль полная противоположность незаконной прибыли. Что она, напротив, представляет собой то, что каждый человек может взять за образец. Величайшая эксплуатация, конечно же, продолжается, но она *отмыта* от подозрения в том, что ее успехи чем-то обязаны незаконности. Другими словами, величайшая эксплуатация продолжается; причем еще успешнее, ведь кажется, что любым своим результатам она обязана только тому, что можно привести в пример. Только тому, в отношении чего она могла доказать, что главное для нее — этическая сторона (употребляя слово, которое главенствовало в ходе недавнего — и грядущего — учреждения и обогащения одноименных пенсионных фондов).

Люди пытались разобраться, к чему устремлена эта абсурдная и жестокая прозрачность, на которую все пошли с поразительной доброй волей. Необходимо ответить, прозрачность стремится доказать, что то, что поначалу было связано с самой позорной капитуляцией, впоследствии соединилось с наилучшей частью всего лучшего, что могло быть рождено заботой о равенстве и заботой о справедливости.

Конечно же, все идеологии можно обвинить в том, что они злоупотребляли доверием положившихся на них людей (коммунистическую идеологию в первую очередь). Но ничто не может сравниться с совершенной в своем роде иллюзией, каковой является сегодня идеология денег.

А ведь это они вызвались помочь идеологии денег в этой довольно-таки противоречивой в сравнении с другими задачей. Дело не в том, что они вдруг стали предавать. Все хуже. Люди, которые все время думали, что нет ничего хуже коррупции, что это из-за нее мир столь постыдно неравноправен, вдруг поверили, что капитал может — вместе с ними, в точности как они, — пожелать, чтобы мир перестал быть таким.

Конечно же, это очень редкий случай идеологического колдовства. Они якобы продолжали быть левыми, они якобы и впоследствии были левыми, правда, только так, как могли остаться левыми: поддерживая капитал в операции, в которой тому требовалось заинтересовать как можно большее количество людей. Они якобы были левыми, даже крайне левыми, применяя всякого рода технологии, которые в последнее время распространились у всех на глазах и без которых уже не может обойтись ни одна из операций господства.

По всей видимости, эти левые, это левачество, даже не могли себе представить, что становились пособниками укрепления старых или новых иерархий; или же им думалось, что лучше быть их пособниками, чем позволить прийти худшим иерархиям. Как знать — преступным иерархиям? Наверное, потому что эти левые, с грехом пополам выбиравшиеся из Истории, которой довелось увидеть столь безоговорочное их отречение, на большее и не были способны, ведь им снова предстояло встать в строй в другой истории и им хотелось, чтобы она считалась с ними. Наверное, потому что есть такие идеи, которые ничего так не боятся, как вдруг оказаться вне всякой истории.

Как бы то ни было, нам пришлось наблюдать, как формировался этот странный, этот противоестественный союз, который заключали те, кто с глубочайшим цинизмом сознавал, что после 1989 года просто невозможно не представить дополнительного доказательства в пользу оснований, на базе которых капитал одержал верх, и те, кого утешило бы любое представленное капиталом доказательство.

Первым к ним примкнул интеллектуальный полусвет: так можно было избавиться от тяготевшего над ним обязательства считаться только с самим собой; а главное это был прекрасный случай начать получать дивиденды от столь обременительной смычки (ведь они не перестали бы быть революционерами, если бы идея революции не перестала простирать свое влияние над умами, которыми некогда владела; они перестали быть революционерами с того дня, когда революция перестала быть революционной). За ними последовали журналисты.

Журналисты всегда идут следом. Нет такого журналиста, который не определялся бы своей способностью идти следом: за революцией, если ему кажется, что она может одержать верх; за контрреволюцией, если он уже не сомневается, что верх одержала она. Нет такого журналиста, который не определялся бы своим неременным согласием с *тем, что есть*, при любом положении дела (что ни возьми, журналист сам по себе *a fortiori* предоставляет доказательство).

Всему, что писалось журналистами — с той поры и по сию пору, с той поры, когда революция перестала внушать хоть какие-то надежды, и по сию пору, когда контрреволюции уже не надо кому бы то ни было доказывать, что власть ее безраздельна, — всему, что писалось журналистами, стало вдруг отрадно защищать интересы капитала, тогда как прежде казалось, что журналисты готовы были выступать против них насколько достанет сил, а заодно и против тех, кто был против.

Ничего не попишешь: пришлось наблюдать за этим постыдным обменом; и пришлось читать слова, с помощью которых сторговали этот стыд, ведь было стыдно, что надежда пошла в обмен на ренту.

Была ли в этом задействована история языка? Как и история мысли. В этом случае первая затронута ничуть не меньше, чем последняя.

Впрочем, такой смычки было мало. Нужно было, чтобы к ней добавилась другая, чтобы она ее дополнила, обнаружила весь ее смысл. Конечно же, пресса возьмется за рассказы о столь неожиданной одиссее: возвращении равенства в лоно свободы (или расцвете свободы в лоне обещанного равенства).

Но нужно было, чтобы эта одиссея не обманывала, как некогда обманул коммунизм (впрочем, само это слово начинало уходить в забвение). И чтобы она не обманывала, следовало задействовать в этой новой истории (истории, которой, как вскоре можно было заметить, всем хотелось придать видимость настоящей одиссеи) тех, кто мог бы придать ей обоснованность и законность.

Увлекая друг друга, правосудие и пресса словно с цепи сорвались, примерно в одно и то же время, примерно на один и тот же манер. Пресса, притязая на роль правосудия (она уже жить не может без этой роли); правосудие, отдаваясь желанию информировать, которое уже вызывает тошноту (тошноту столь явную, что в отношении иных самых влиятельных судебных уже не разберешь, а каковы, собственно, их прерогативы: говорить, что есть право, или говорить, что они думают о том, каким следовало бы быть праву, дабы не изменить целям, которые они преследуют заодно с прессой). Не было никакого толка в этих точках зрения, привлекавших прежде и

журналистские расследования, и свободные судебные расследования; поскольку журналистские расследования никогда не заходили дальше дозволенного; а независимость судебной власти не могла быть направлена против самой власти, с которой она была органично связана.

Зато толк был в том, что произошло нечто такое, чего поначалу никто и не ожидал: а именно то, что две корпорации, до сих пор испытывавшие к полиции глубочайшее недоверие, сами стали полицейскими, не гнушаясь даже занять место полиции, которую вдруг, без всяких на то оснований, объявили бессильной.

Ладно, допустим, что пресса, подобно полиции, подобно судебной власти, вдруг решила повсюду преследовать бесчестность. Но ничто не может быть бесчестнее самого капитала. Ничто не может быть более заинтересованным в бесчестности, чем сам капитал. Что означает следующее: у прессы появились те же самые интересы, что и у капитала, с того самого момента, когда у нее появились те же самые интересы, что и у полиции, и у правосудия. Такое вот одурачивание.

Как решился на такое одурачивание капитал — стихийно или обдуманно (вопрос этот не дает покоя)?

Без разницы, если оглянуться назад.

Без разницы, ведь все равно он извлек из него самый что ни есть сверхдоход. Уже все было готово, чтобы обвинить его в безраздельной победе; все было готово даже для того, чтобы заставить его дорого за нее заплатить. И что же мы видим? Не обвиняют; тем более не заставляют платить. А те, кто мог бы это сделать, принялись помогать капиталу в осуществлении его самого сокровенного желания: чтобы никто больше в нем не усомнился.

Чтобы никто не усомнился в его желании, его самом сокровенном желании: унаследовать то, чему изменил коммунизм, и за что он, капитал, его изничтожил.

Прессе, правосудию хотелось, чтобы капитализм был справедливым? Но чего большего он сам мог хотеть, как не выглядеть справедливым, ведь то, что выдавало себя за справедливость, было предано, и потому-то он восторжествовал.

Тогда капитал приготовился подать руку помощи, видя усилие, которое пресса и правосудие готовы были сделать; равно как пресса и правосудие собирались подсобить усилию, которое, как было видно, предпринимал капитал: он был готов пожертвовать кое-кем из своих, кто раскрывал те из его процедур, которые делали слишком очевидными средства, к которым он неизменно прибегал во все времена. Он и жертвует ими без малейшего колебания. И даже превратит это жертвоприношение в ритуал. И в этом ему поможет пресса, и в этом ему поможет правосудие. Без их помощи ритуала бы не получилось. А без ритуала — никакой символической эффективности. Нужно было, чтобы неравенство, поскольку ведь оно оставалось, поскольку невозможно, чтобы оно не осталось, поскольку невозможно, чтобы капитал не хотел, чтобы оно осталось, нужно было, чтобы неравенство стало тем, в чем следовало обвинять тех, кто играл против его правил.

Боятся ли капитал, что люди будут думать, что это он диктует правила? В этом случае необходимо, чтобы казалось, будто он готов подчиниться правилам, по которым сам существует. Чтобы они были обязательны для него, как обязательны для всех. Чтобы они исходили из всего, что есть трансцендентность (вскоре начнут говорить об «этике»), каковой капитал хочет-де подчиниться, подобно тому, как ему хочется, чтобы все кругом было подчинено.

Ради справедливости, конечно же. Ради заботы о справедливости, которая им движет и о которой он говорит, что он ее наследует (в высшей степени парадоксальное наследие, ведь это коммунизм, над которым капитал восторжествовал, его к ней обязывает). Справедливость — это главная забота капитала. И ему не хотелось бы, чтобы люди думали, что только он определяет условия, при которых устанавливается эта справедливость. То есть он не хочет, чтобы люди думали, что он является и судьей, и ответчиком.

Те, кого раньше разделяло все, движимы сегодня одним и тем же пылом. Именно этот пыл все изменяет. Все время, пока капитал в одиночку хотел навязать, причем навязать тем, кто ему противился, правила, которым он сам решил подчиниться, люди существовали в той истории, которую вольно было писать капиталу и которая все эти годы влекла за собой идеологическую войну: люди видели ее и принимали в ней участие. Ну а с того времени, когда врагов не осталось?..

С того времени, когда бывшие противники стали по большей части союзниками?.. С того времени когда ничего ценнее этих союзников, которых принесла победа, и быть не могло?.. С этого времени, понятное дело, история капитализма закончилась.

Конечно же, она не закончилась. Никто не станет утверждать, что та история, что повсюду одерживает верх, не является уже историей капитализма. В то же время она к ней не сводится. Капитал одерживает верх повсюду и безраздельно. Однако те, кому он обязан тем, что одерживает верх, обязывают его делиться своими завоеваниями. И уже не «капитализмом» надлежит называть то, что и в самом деле повсюду и безраздельно одержало верх; «капитализма» здесь мало.

«Господство» — вот имя тому, что одержало верх.

И не следует думать, будто господство предшествовало этой победе. Произошло как раз обратное: господство — это полученный многие годы спустя результат той победы, из которой извлекают выгоду даже те, кто ее не хотел.

Следует еще уточнить: это господство навязывает себя капиталу, что бы ни представлял из себя капитал и пусть даже в одиночку одержал верх. Чтобы одержать верх над тем, что противостояло капиталу, хватило бы и одного капитала. Но добиться того, чтобы одержанная им победа сохранилась, закрепились во времени, капитала не хватало. Господство — вот имя, которым надлежит называть все то, что капитал, пытаясь сохраниться, укрепиться, сфабриковал, вступив в союз с тем, что в то же самое время фабриковалось стремлением к прозрачности и равенству. Прозрачность обеспечивалась прессой; равенство — правосудием. И то, что происходило из этого интереса, в отношении которого никто прежде не мог и заподозрить, что он будет общим для денег, медиа и судов, должно было в надлежащий момент получить название «господство».

Что было призвано к тому, чтобы обозначать не какое-то дополнительное риторическое построение, но — из всех риторических построений, пригодных для обозначения власти, — то единственное, что в состоянии вобрать в себя все фигуры власти. Из всех фигур власти, явления которых надлежало когда-то страшиться, теперь, когда уходит страх, что явятся фигуры абсолютной власти, данная фигура, конечно же, является наихудшей.

Хотелось, чтобы деньги навязали себя всем и вся? Деньги, конечно же, навязут себя, на обратное не приходилось даже надеяться, ни даже пытаться сделать что-нибудь, чтобы этого не произошло; но не приходилось и считать возможным, что деньги навязут себя с благословения того, что, казалось, этому противится. Деньги, конечно же, навязали себя. Но они навязали себя, навязав правила, при помощи которых деньги будут навязывать себя деньгам; то есть деньги навязали себя одновременно с теми правилами, которые они навязывали; то есть одновременно с теми правилами, при помощи которых прозрачность денег будет диктовать понятия, с помощью которых и будут навязываться деньги.

Операция, которую наблюдали люди (в худшем случае в бессилии, в лучшем — имея свой интерес), была нацелена на то, чтобы одним махом и деньги приобрели всю власть, и в прежней контрвласти не осталось ничего, что более или менее сознательно не работало бы на это приобретение.

Господство — это результат тройной задачи; деньгам надлежит воспроизводить себя по возможности в самом большем количестве; прессе — сообщать, в каких условиях это происходит; правосудию — выносить эти условия на суд, как только возникают какие-то подозрения.

Отправной была забота о *равноправии* на деньги? Благодаря господству возвысились до заботы о *законности* денег. Равенство? Законность? Есть ли еще хоть что-нибудь, с чем можно было бы соизмерить цену совершенной подмены? Все революции направлялись интересом к первой из этих двух забот. Вторая составляет интерес всякого господства.

Никому и в голову не приходило, что одно так легко сменит другое и всех приведет к согласию. С тех пор насмотрелись. За двенадцать лет. Сегодня все хотят — всегда ли они этого хотели или же хотели этого менее всего, — чтобы то, что сделало возможным свободное обращение денег, сохранилось навсегда; и все знают, что ничто не сохранится надолго, если это обращение не в состоянии доказать большего, нежели свобода, каковой оно обладает; если оно не в состоянии засвидетельствовать, что оно и есть сама свобода.

В самом деле, давайте подозревать деньги, которые находятся в обращении, в том, что они обращаются не так, чтобы об этом все могли по справедливости судить, и такое обращение и следует подвергнуть расследованию.

Понятно, что капитал хотел бы этого менее всего. Но приходится допустить, что правосудие и пресса хотят этого не больше.

Чего они добиваются? Конечно же возмещения убытков (смутное и абсурдное стремление к безосновательной целостности), из которого, как известно, капитал может извлечь выгоду, что и делает всякий раз. Возмещение убытков, которого добивается пресса, конечно же интригует, ведь она по-прежнему хочет представлять интересы большинства, взявшись между делом представлять чуждые большинству интересы (ведь, как известно, пресса всегда и везде учреждается не иначе, как в согласии с тем, что господствует).

Что до правосудия, то как раз тогда, когда, как казалось, ему менее всего хотелось выглядеть классовым, оно подстроилось под класс, от которого всегда зависит всякое правосудие.

Для этого беспрецедентного соглашения, которое было заключено прессой и правосудием с капиталом на условиях и на основаниях, о которых далеко не все известно, слово *господство* подходит лучше всего, пусть даже люди пока плохо понимают, что же в точности оно обозначает.

То есть пусть даже то, что следует им обозначать, является пока неопределенным или незаконченным. Ясно одно, господство обозначает то, что способно ни на кого не давить, когда никому себя не навязывает. Хуже того, господство обозначает то, что никому себя не навязывает, если уже нет никого, кто не хотел бы, чтобы на него давило бремя господства.

Больше удивляет именно это желание, а не фигура, которую оно порождает. В отношении последней есть соблазн сказать, что это лишь одна из фигур — причем из всех прочих одна из самых изощренных или одна из менее всего жестоких — того самого ужаса, который всегда удавалось породить тому, что господствовало, дабы это господство было увековечено. Однако не это надлежит говорить о господстве *сегодня*; не это тем более надлежит называть сегодня *господством*.

Господством сегодня надлежит называть нечто совершенно новое, что определяется через то обстоятельство, что никто больше этому не противится. О господстве можно сказать и побольше (и наверняка потоньше), но это положение — самое существенное. Более того, его вполне достаточно, чтобы отличить эту форму господства, практически совершенную, от всех предыдущих (которые были лишь ее набросками). В самом деле, между тем, что запрещает, противится тому, что есть, и тем, что позволяет, чтобы не осталось никого, кто не хотел бы того, что есть, различие огромно.

Конечно же, эта система господства восхитительна, но дело в том, что измена тех, кто строил заговоры с целью ее погубить, — и кто примкнул к ней, когда отпала необходимость не примыкать, ведь победа была настолько очевидной, — стала платой за символический триумф, отрицать который уже не представляется возможным.

Капитал все время, пока был в состоянии войны, находился под надзором и освободился от него в тот день, когда война прекратилась.

В самом деле, с того дня, когда война прекратилась, все изменилось; конечно же, все изменилось к неоспоримой выгоде капитала, это всем известно; но гораздо менее известно, ведь капитал не распространялся на этот счет, то, что все изменилось и к выгоде тех, кто некогда выступал инстанцией надзора над капиталом. С этого момента у всех на глазах они выступали и будут выступать как инстанции надзора за угрозами, которые могли нависать над капиталом.

В этой победе никогда ничего не понять, если представлять ее так, будто она целиком и полностью обусловлена тем, на что капитал был способен в одиночку. Для того чтобы была достигнута столь полная победа, столь полная, что не осталось никого, кто мог бы поставить ее под сомнение, тем более ее оспорить, требовалось, чтобы те, кто, как считалось, старался сделать все, чтобы такой победы нельзя было достичь, стали изменниками.

Столь гибельная победа стала возможной из-за того, что даже те, кто не был в ней заинтересован, потрудились на то, чтобы она была достигнута. По крайней мере, казалось, что они не могли быть в ней заинтересованы. Столкнуться же пришлось с обратным. Из всех вывихов, которые по воле этой эпохи пришлось познать людям, этот вывих ни с чем не идет ни в какое сравнение.

От судей и журналистов зависит отныне все, что подобает знать обо всем, что есть. И все, что подобает осуждать из всего, *что есть и что положено знать*.

Конечно же, из всех прочих эпох вульгарнее этой не было: приличествует, чтобы ничто не оставалось в тайне, ибо не должно остаться ничего, что нельзя было бы осудить.

Осудить — вот по сути слово, которое позволяет выразить, что же такое господство и почему оно значит больше, чем капитал. До сих пор капитал упорядочивал все денежные отношения, от которых зависело его процветание. Но теперь этого мало: требуется, чтобы никто не усомнился в порядочности денежных отношений, от которых зависит процветание капитала. Для того чтобы никто не мог усомниться в самом капитале. То есть чтобы никто не усомнился в его доброй воле, устремленной к тому, чтобы *процветание было всеобщим*. И одна эта воля, направленная на то, чтобы процветание было общим, способна свидетельствовать в пользу порядочности денежных отношений, которыми капитал по-прежнему занимается. Эту порядочность и возьмут на себя судьи. И журналисты. Всяк по своему. Отныне это им придется ее доказывать. И отныне и дня не пройдет, чтобы они этого не делали.

В общем, это можно выразить и иначе: капитал — это господство, но до суда. По крайней мере, до достаточного осуждения. А господство — это капитал, но после суда. После обязательного осуждения.

Проблема заключается в том, что очень скоро стало неясно, какое осуждение было достаточным, а еще менее ясно — какое было необходимым.

Поскольку очень скоро перестали судить с точки зрения того, что *прежде* могло казаться достаточным; еще быстрее — с точки зрения того, что *с той поры* могло казаться необходимым.

Взялись осуждать. Все. Возможно, сначала взялись осуждать вслепую, как в тумане. Взялись осуждать не то, что у одной стороны были деньги, а у другой нет, но то, что у одной стороны были *эти* деньги, а у другой *те*.

Другими словами, взялись выбирать между деньгами.

Но, выбирая между деньгами, признавали, что деньги оправданы *без каких либо условий*.

Все это произошло очень быстро. Быстрее не бывает.

История пишется еще и сегодня, что бы об этом ни говорилось; правда, со скоростью движения, которое определяют собственно процентные ставки. Процентные ставки и определяют то обстоятельство, что *история* худо-бедно пишется.

Людям по простодушию хотелось, чтобы речь шла о денежном режиме? Но повсюду речь идет — с неистовством, которое не оставляет времени, даже возможности, провести линию раздела, — лишь о том, как акционеры выбирают между двумя типами накоплений, выбирая между двумя процентными ставками и между двумя уровнями дивидендов.

Была возможность возникновения каких-то историй; чаемых надежд. Которых постфактум стали стыдиться те, кто мечтал об этих историях, те, кто питал эти надежды. Стыдиться тем сильнее, поскольку капитал обнаруживал готовность вознаградить их за озлобленность, которую они из-за этого испытывали.

Поскольку капитал даже озлобленность готов сделать инструментом роста производства. Поскольку капитал даже из стыда способен извлечь прибыль.

Тоталитарным является только капитализм. Из всех смысловых смещений, которые нам пришлось познать, это смещение более всего в состоянии вызвать озадаченность и, возможно, неприятие: это прилагательное было придумано, чтобы обвинять коммунизм (после того как с его помощью ранее обвиняли фашизм). Люди вскоре увидят, как капитализм будет этим кичиться. Он будет этим кичиться, поскольку применительно к нему, раз уж коммунизм и фашизм мертвы, слово «тоталитарный» представляет собой не что иное, как клеймо.

Стало быть, коммунизм проиграл дважды: будучи не в состоянии противопоставить капитализму что-то большее, чем убогая подтасовка оснований, которыми он хвалился, лишь распространяя ложь и будучи не в состоянии не допустить, чтобы капитализм восторжествовал над ним, не оставив ему ни единого шанса на возвращение.

Никто не заметил: коммунизм тем не менее «восторжествовал», причем самым неожиданным образом (меньше всего политически): умирая, он завещал капиталу, который его добивал, то, ради чего он умер; точнее то, от чего он умер. Следует напомнить: прозрачность, которой капитал кичится каждый день и по каждому поводу, от которой чего он только не ждет, была рождена в коммунистическом Советском Союзе — под именем *Гласности*. Коммунизм не пережил *Гласности*. Возможно, капитал не совсем прав, похваляясь одержанной столь высокой ценой победой и потрясая оружием, при помощи которого СССР скорее уж сам убил себя, чем его убили.

(Тем не менее идея, что, умирая, умирающий монстр отравил побеждавшего его монстра ядом, от которого сам рисковал умереть ничуть не в меньшей степени, эта идея взаимных смертоносных объятий легко смешивает те представления, которые обыкновенно складываются, когда дело касается связывавшего их идеологического соперничества).

Те, кто тогда примкнул к победителям, сразу стали говорить, что они к ним примкнули, чтобы их изменить. И чтобы система, которая привела их к победе, улучшилась?

Конечно же, они это говорили.

По крайней мере, в первое время. Добавляя при этом с цинизмом, что именно по этой причине эта система одержала верх: потому что ей было известно, что наступит день и те, кто выступал против нее, захотят помочь ей стать тем, чем ей необходимо стать, — не только для того, чтобы восторжествовать, но и для того, чтобы это торжество удовлетворило как тех, кто проиграл, так и тех, кто выиграл. Вот *великий новый шаг* капитализма: ему отрадно было сделать так, чтобы никто не мог пожаловаться ни на то, что проиграл, ни на то, что выиграл. Конечно же, с точки зрения риторики это мелочь. Но с точки зрения политики — гигантский шаг. Хотя бы потому, что он устанавливает принципиальное равенство тех, кто противостоял друг другу. Прежде требовалось, чтобы были и победители, и побежденные. Отныне не будет ни тех, ни других. Не будет, поскольку в будущем невозможна никакая победа, которая не заставила бы вспомнить об этой «победе» и не позволила бы того, чтобы продолжали чествовать как тех, кто ее тогда одержал, так и тех, кто потерпел поражение. (Скоро не останется больше никого, кто мог бы это понять, ведь представления, которые могли бы это позволить, исчезнут вместе с этой победой).

Те, кто примкнул тогда к победителям, были не самыми главными; но нет никакого сомнения, что они были самыми многочисленными.

Им не хотелось проиграть. Доказательство в том, что им даже в голову не приходило, что проиграть было возможно. Но как только проигрыш стал очевиден, они примкнули к тем, кому проиграли.

Бесстыдно? Это самый темный или самый скрытый момент. Было видно, что большинство стыда не испытывает. В то же время не может быть, чтобы то, чем они стали, также не внушало им стыда. Или же им следует говорить, что сегодня стыд внушает им революция, на которую они столь активно работали. Однако они этого не говорят.

Самое большее, что все они говорят, и в один голос, так это то, что революция была будто бы *радостной*. Но то, что над ней восторжествовало, является *разумным*. Нет больше никого, кто не был бы готов превозносить повсюду достоинства столь унылого разума. Дело не в том, что они всегда испытывали к нему безоговорочную любовь; просто-напросто они обязаны ему, как бы они о нем ни судили, тем, что выжили после раздела, произошедшего в тот момент, когда этот разум заставил их сделать выбор.

Капитал торжествует повсюду. Надо всем. Это ни для кого не секрет. Сегодня он считает, что способен подчинить все что ни есть. И подчиняет. В общем, мир стал вдруг как будто слишком маленьким, когда не осталось больше никого, кто мог не быть его частью. Когда не осталось больше никого, кто не хотел бы быть частью мира, ставшего вдруг целиком и полностью капиталистическим. То есть кажется, не осталось больше никого, кому не хотелось бы принадлежать хоть к какому-то миру, когда стало казаться, что мир мог стать для всех капиталистическим. Конечно же, не осталось больше ничего, что могло бы не быть капиталистическим, — ведь не осталось больше ничего, что не обязано быть капиталистическим, просто ради того, чтобы хоть чем-нибудь быть.

И сразу же не остается ничего, что не вступило бы в новую войну, в которую, как можно было видеть, ввязывается весь капитализм целиком и полностью, в том числе и против тех, кто и не переставал быть капиталистом. Изменилось, конечно же, именно это: могло показаться, что благодаря этой войне самые обездоленные не останутся ни с чем; но произошло другое: продолжается эта война, которая приносит еще большие лишения тем, у кого и так ничего не было. И которая вскоре будет приносить лишения даже тем, кто связывал с ней свои самые большие надежды.

Возможно ли такое, чтобы капитализм остался без врагов? Конечно же, нет. Пусть даже не осталось никого, кто мог бы стать его врагом, не будучи при этом из числа самих капиталистов. Что и произошло.

Доказательством тому служит то, что банки ведут между собой такую войну, что нетрудно понять, что начинается самая что ни есть война, которую капитал готов вести против самого себя. Поскольку капитал знал — все время, пока у него не было возможности сослаться на какое-то отличное от своего собственного суждение, — что сам стбит не больше, чем идеология, которую он из себя представлял. Только с той поры, когда он в любой момент может сослаться на суждение тех, кто некогда сражался против него, он перестает быть идеологией, в чем его некогда обвиняли.

Конечно же, капитализм всегда бьм не идеологией, а естественным порядком вещей, как того хочется тем, для кого идеология — это все то, что притязает на сопротивление *тому, что есть*.

Никак не могли понять, как же сделать так, чтобы были неправые и правые; чтобы были виноватые и невинные. Теперь понятно.

Итак, хотелось, чтобы наступило равенство? В таком случае, дабы никто больше этого не хотел, достаточно будет сказать, что воля к равенству была идеологической. Стало быть, преступной. Поскольку всякое воление раз и навсегда покончить с неравенством не может не быть преступным. Злая шутка, которую коммунизм сыграл с теми, кто мнил себя коммунистами и трудился на то, чтобы когда-нибудь наступило *хоть какое-то равенство*, имела две стороны: во первых, за равенство могло сойти то, что никоим образом не являлось им; во вторых, то, что не имело никакого отношения к этой воле, могло воспользоваться этим обманом как предлогом для притязания на то, что оно само в состоянии дать удовлетворение такой воле — помимо всего прочего. Капитал это понял.

Помимо всего прочего? Поскольку, конечно же, никто всерьез не думает, что капиталу есть хоть какое-то дело до равенства. Никто так не думает, но в то же время никто не осмеливается предположить, что он тоже не в состоянии этого сделать. Из всех преступлений, в которых следует обвинить коммунизм, это преступление не самое последнее: всякое что ни на есть преступление выглядит сегодня как то, на что притязал коммунизм. Что же, знаки до такой степени поменялись?

Да, до такой степени и более того: тем временем почти всем стало безразлично, будет ли хоть кем-то — коммунистами или капиталистами — устранено неравенство.

Те, кто украшает сегодня капитализм добродетелями, которыми некогда украшали коммунизм, обнаруживают не что иное, как собственную заботу о том, чтобы *то, что есть* оставалось как есть.

Чтобы самим оставаться такими, как есть. Чтобы не думали, что они изменились, тогда как они не изменились, а стали *изменниками*. Конечно же, они перешли на сторону врага, именно это все и стали бы о них говорить. Именно это и стали бы о них говорить все, если бы им не удалось сделать так, чтобы люди поверили в обратное: будто перейдя на сторону бывшего врага, они сохранили верность тому, что заставляло их с ним сражаться.

Они приложили к этому недюжинное и во множестве отношений новое искусство, которое следовало бы детально знать и понимать. Которое узнают и поймут слишком поздно. Чего им хотелось, сбудется: ту власть, что не дала им революция, к которой они призывали от всей души, даст им капитал — *вместо революции*.

Если хорошенько подумать, слово «измена» не подходит. Ведь те самые люди, которые хотели, чтобы революция была безупречной, сегодня хотят, чтобы безупречной была контрреволюция.

Дело ясное: это те же самые, и как они проводили чистки среди тех, кто искал выгоды от революции, так сегодня они полны решимости сделать так, чтобы контрреволюция избавилась от своих коррупционеров. Иначе говоря, они так и не отреклись от своей идеи, что мир без коррупции возможен.

Из имевшейся у них идеи революции они сохранили лишь эту, причем самую худшую из всех: пусть мир будет таким, каким он должен быть, лишь бы он остерегался искушений обмана и коррупции. Иначе говоря, те же самые люди, хотя, возможно, в остальном они изменились, хотят, чтобы коррупция — какая бы система ни одержала верх — не запятнала последней.

Они поменяли победу, пусть так, но не способ судить о ней. От одной им хотелось, чтобы то была безраздельная победа равенства? От другой, поскольку только она им и оставалась, достаточно будет, чтобы она не казалась слишком чуждой равенству. И они постараются, чтобы она такой не казалась, не имея возможности сделать так, чтобы она такой не была.

Выгода, которую они могли извлечь из отречения, призванного сойти за верность, и вправду была большой. Из всех имеющихся способов проиграть войну этот способ является самым удобным или самым постыдным.

Где это видано, чтобы побежденные так быстро примкнули к победителям; да еще и поучали их с таким апломбом?

Те же, кто сохранял решимость сопротивляться, то есть те, кто не верил, что конец этой войны означал крушение оснований, на которых они ее вели, с изумлением взирали на тех, кому очень хотелось думать, что война проиграна, хотя и совсем не хотелось принимать основания победителей; казалось даже, что им хотелось, чтобы, наоборот, это победители признали их основания. Например в этом: разве не были они полны решимости сделать революцию безупречной? Конечно же, революция теперь невозможна, но зато они сделают безупречной контрреволюцию. Разве они не хотели, чтобы раздел денег был по-революционному справедливым (и нет такой революции, которая не вела бы свою родословную от такого желания)? В таком случае будет достаточно того, чтобы контрреволюция была безупречной и тогда можно будет верить, что раздел денег будет осуществляться по справедливости. Из всех подмен, которым могла потворствовать эта эпоха, такая подмена понятна менее всего.

Что, конечно же, означает две вещи. Первое: те, кто еще хотел революции, — еще до того, как ее предать, — не знали в точности, чего им больше хочется (неизменно неясной возможности раздела или неизменно жестокой возможности чистоты?). Второе: власти неизменно хотят одни и те же, и не важно, заполучат ли они ее от революции или от присоединения к тому, что сделало революцию невозможной. Сегодня не вызывает сомнений, каким будет ответ.

Чтобы не было сомнений, достаточно посмотреть на них: изменив основания, они не изменили своему неистовству. Неистовству ревнителей чистоты и пуритан.

Соглашение, которое было достигнуто у всех на виду и против которого с тех пор столь трудно бороться, таково: казалось, что оно достигнуто ради того, чтобы люди убедились в цинизме задействованных партий; однако оно задействовало такие партии, которые были полны решимости представлять себя так, будто им чужд всякий цинизм. Понятно, какое требование, выдвигавшееся революцией, от которой тем не менее все отреклось, могло быть сохранено в самом этом отречении; понятно и то, какие требования могли быть приняты капиталом ради того, чтобы остались в целостности и сохранности формы отречения, которым потворствовала революция. Это и назвали *прозрачностью*.

Это слово встречается повсюду, хотя трудно было бы сказать, откуда оно взялось.

А взялось оно главным образом из тех представлений, что революция хотела противопоставить тайне, которую, как ей казалось, хранит капитал в отношении всего, что предпринимает.

Конечно же, это справедливо. Но произошло то, чего никто не заметил и что, это очевидно, ничего не могло изменить в отношении революции, в которую уже никто по здравому рассуждению не верил, зато изменило все в отношении капитала, с которым все принялись связывать свои надежды, хотя бы это и шло вразрез со всем тем, что до сих пор было достойно веры.

Революция обещала, что порядок вещей будет таков, что в нем не будет ничего тайного. Капитал оказался способен на это: отныне в нем не будет ничего тайного, во что и должны поверить люди, как некогда верили в революцию.

Конечно же, революционеры ошибались: неужели они на самом деле думали, что капитал занят только тем, как бы одержать над ними победу, которой им нечего было бояться? На самом деле он был занят уже только тем, чтобы оправдать победу, которую собирался одержать, при помощи слов, заимствованных у разбитых революционеров.

Иначе говоря, напрасно капитал старался не быть идеологией, нет ничего, вплоть до идеологии, чем он не овладел бы в совершенстве. Чему нет лучшего доказательства, чем та забота, с которой он стал стараться соответствовать условию, согласно которому, как ему было известно, судить его готовы были все те, кто ему противостоял. Странное дело, но именно по нему следует судить о сиюминутном превосходстве капитала: ничто не вынуждало капитал к тому, чтобы предоставлять дополнительные доказательства победы, которую мало кто не находил неопровержимой. И тем не менее капитал постарался их предоставить (пока не будет проанализировано это риторическое «великодушие», нет никакой возможности возобновить какую бы то ни было революционную войну).

В то же время это значило бы признать, что капитал способен на бескорыстное великодушие. Однако достоверно как раз обратное: если представить дополнительные доказательства столь полной победы, то они могут показаться избыточными, но этого-то капитал и не делает.

Он этого не делает, потому что они не таковы, не избыточны. Если бы он держался того, чего и так хватало, все равно нет никакой уверенности в том, что то, чего хватало когда-то, будет достаточно *надолго*.

Вот этого и хотелось избежать капиталу: победы, которая, даже представляясь великой, даже не вызывая ни в ком желания ее оспорить, была бы ненадолго. Чтобы этого избежать, всех тех, кто не преминул бы вернуться к надежде, следовало заранее и надолго лишить всяких аргументов.

Или же окончательно лишить надежды тех, чьи аргументы были еще не полностью уничтожены. Более того: требовалось заинтересовать их в этой победе, внушив им мысль, что они не все потеряли. Что, может даже, они в чем-то одержали победу. Да разве не одержали они победы, если судить по тому, что победивший ничуть не сомневался в том, что должен признать своими ряд оснований, в силу которых его оспаривали?

И признать среди прочих оснований, в силу которых его всегда оспаривали и продолжали оспаривать, одно из самых мощных оснований, ведь оно было одним из самых обличительных: будто бы вплоть до этой победы капитализм был всего лишь *мафией*.

Совершенно естественно, что из всех обвинений, которые ему надлежало опровергнуть, дабы только что одержанная победа не оказалась бы настолько эфемерной, насколько казалась полной, это обвинение прозвучало самым первым. Потому требовалось:

1) чтобы никто и никогда не мог сказать, то капитализм носит мафиозный характер;

2) чтобы все сошлись на такой новой, поди ж ты, идее, что капитализм менее всего может быть обвинен в мафиозности;

3) чтобы никто всерьез не мог сомневаться в том, что капитализм преисполнен решимости повсюду бороться с мафиозными методами, в том числе и в самом себе.

Когда есть подозрение, что капитализм это мафия, подозревают, собственно, то, что производство и воспроизводство денег остается в тайне. Панацея: раскрыть тайну, тогда обвинение снимается; и вместе с ним снимаются все другие вытекавшие из него обвинения (что капитализм это власть немногих против всех, что он лишь самовоспроизводится и т. п.).

Отсюда берет начало истерия прозрачности: из желания предвосхитить то подозрение, что, как казалось капиталу, должно пасть на условия, в которых будут воспроизводиться деньги, когда уже не останется никого, кто был против того, что деньги должны не только воспроизводиться, но воспроизводиться так, как они воспроизводились во все времена.

Капитал предвосхитил его настолько удачно, что не замедлил возбудить против себя все те дела, которые, как ему мнилось, станут против него возбуждать. Довольно-таки странная, но вместе с тем предусмотрительная процедура. Разве таким образом капитализм не свидетельствовал о том, что он далеко не так тоталитарен, как того можно было опасаться? Но разве не хотелось ему, что его судили не *по существу*? В таком случае требовалось, чтобы его судили те, кого он убедил в необходимости того, чтобы в отношении его было-таки вынесено суждение. Требовалось, чтобы за неимением тех, кто судил бы его *свободно* (об этом не может быть и речи), он судил бы себя сам — через их посредничество. Именно это и происходит на наших глазах, и мы верили тому разве что наполовину: капитал оправдывает себя всякий раз, когда принимается себя судить. *То есть всякий раз, когда дозволяет, чтобы его судили те, кому он дозволяет себя судить*. И кто, конечно же, судит его столь строго лишь потому, что так легче его оправдать.

Сталинизм вложил весь свой тяжкий гений в то, чтобы представить доказательства виновности; капитализм вкладывает свой гений в то, чтобы представить доказательства невиновности. Сталинизм доходил до неистовства в своем желании убедить в имевшейся у него обоснованности *осудить* то, что ему противилось; капитализм будет доходить до истерии, чего только не делая, чтобы доказать *невиновность* даже тех, кто его осуждает.

Прозрачность, которую капитал захотел распространить на все, *что есть*, означала множество вещей, разъяснению которых все поначалу громогласно воспротивились.

Но самого важного никто даже вообразить себе не мог: дело не в том, что капитализм хотел установить режим денег, в невиновности которого никто не мог бы усомниться, а в том, чтобы в этом режиме не осталось никого, кто бы не мог не признать себя виновным.

Поскольку капитализм сделал такой решительный шаг, на который были совершенно неспособны даже самые дальновидные из его хулителей: он уже не притязал на то, что деньги хоть как-то могут быть невинными, как и на то, чтобы хоть как-то умиротворить тех, кто этого хотел, он просто хотел предоставить доказательство, что нет такого поведения, в котором отсутствие собственной невиновности не соотнобразывалось бы с отсутствием невиновности в обращении денег. Именно это и требовалось доказать: не то, что есть какие-то вещи, о коих должно говорить, что на них лежит вина, но то, что нет ни одной вещи, о которой можно было бы утверждать, что вины на ней нет.

Капитализму и в самом деле удалось как нельзя лучше усвоить безумный урок Кафки. Он будет стараться доказывать, что он тоже виновен, дабы доказать:

1) что все до одного могут быть виновными, и он в том числе;

2) что все до одного не могут притязать на невиновность, ведь сам он на нее не притязает.

И тогда не остается никого, кто мог бы его судить, поскольку нет никого, кто мог бы притязать на то, что виноват меньше, чем сам капитал. Должно быть, распространение господствующего денежного режима имеет такой смысл: сделать так, чтобы не осталось никого, кто не разделял бы собственных ценностей капитала, и, следовательно, чтобы не осталось никого, кто мог бы его осудить с точки зрения чуждых капиталу ценностей.

Задавались вопросом, что такое господство. Ответ напрашивается сам собой: господство это такой порядок, что установлен ценностями и их осуждением, коему их природа требует, чтобы они подверглись. Стало быть, не суть важно, кто подвергает ценности осуждению, которое им, что очевидно, ежедневно угрожает; достаточно и того, чтобы те, кто угрожает им осуждением, осуждали их от имени тех же самых ценностей, что и сам капитал.

Если бы тоталитаризму потребовалось когда-нибудь подыскать себе конечное определение, то следует выдвинуть гипотезу, что вышеприведенное определение отвечает этому требованию. Следует также выдвинуть дополнительную гипотезу: только капитализм является законченным тоталитаризмом. И впервые речь идет о неидеологическом тоталитаризме, поскольку идеологическим является все то, что было направлено на установление или опровержение невиновности.

Капитал, понятное дело, не так глуп, чтобы согласиться на то, чтобы ему ставили в вину какую угодно виновность.

Не следует упускать из виду: он идет на то, чтобы его обвиняли, исключительно для того, чтобы в конце концов оказаться более невиновным, чем все то, с чем его можно сравнить. То есть требовалось, чтобы он сам определял условия, в которых, случись такое дело, против него будет вестись следствие. По меньшей мере те условия, в которых следствие будет вестись против какой бы то ни было части той власти, которой он обладает.

Так и вышло, что те, кто проливал на капитал свет, искренне поверили, что пролитый свет исходил от них самих. Понятно, что происходило обратное. Если бы свет этот хоть на самую малость исходил от них, то все в конце концов было бы освещено. И прозрачность стала бы реальной. Но столь малый или столь выборочный свет отлично свидетельствует о том, что исходит он вовсе не от них, а от самого капитала, ведь к этому обязывает его эпоха, да так оно и лучше, дабы оставались в тени его *реальные* основания и методы.

Во что еще хотелось верить людям? Это и есть самое грустное: в возможность морали (нет хоть сколько-нибудь тревожной эпохи, которая не хотела бы верить, что ее спасет мораль). Для чего? Для того, чтобы тем самым верить в возможность политики.

Мораль, и они это знали, не так уж много сделала до сих пор для того, чтобы существовала политика. Однако — случай это или чудо? — исчезновение политики много делало для того, чтобы казалось, будто мораль берет верх.

Такое вот одурачивание. Самое новое или самое парадоксальное из всех прочих. Ведь политика исчезала по тем же самым причинам, по которым уже исчезла мораль. Поскольку, понятное дело, политика никогда особенно не интересовалась тем, на что ставила мораль. Поскольку, и так будет вернее, именно исчезновением морали определялось исчезновение политики, в котором было заинтересовано все остальное.

Разве не хотело господство, чтобы не осталось ничего такого, от имени чего его можно было судить? В таком случае требовалось, чтобы то, что могло его судить, было повязано с тем, что оно осуждало. Вот в чем был величайший шаг нового времени: сначала убедить в том, что капитал стоит ровно столько, сколько определит господство, а потом сделать так, чтобы в его *ценности* было заинтересовано и то, что будет говорить, чего он *стоит*.

В этом смысле господство есть не что иное, как нигилизм, призванный стать ловушкой: прежде о ценностях судили по той власти, которой они располагали, чтобы судить то, что есть, отныне их будут судить по соглашению, которое они заключают с тем, что они сами судят. Прежние ценности существовали для того, чтобы потребовать от режима денег объяснений в отношении природы и оснований его владычества? Благодаря новым ценностям, эта природа и эти основания будут определяться самим режимом денег.

Сомневаться не приходится: как бы ни изменялись формы контроля, ничего не меняется в том, что подлежит контролю.

В этом смысле не так уж и глупо было говорить о «конце истории».

В этом, например, смысле: господство полагает, будто судьба рабочего класса решена.

И она, конечно же, решена, с тех пор, как он незаметно растворился в средних классах, каковые не обнаруживают больше никаких желаний, кроме желания вкушать плоды, возвращенных им на радость капиталом. В самом деле, ведь не утверждалось, что к тому, что капитал до сих пор приберегал для класса, который он представляет естественным образом, нельзя будет когда-нибудь приобщить даже те классы, что некогда выступали против этой исключительной привилегии. Это первая социальная победа капитала.

Вторая победа свершилась тогда, когда стало невозможно оспаривать условия, в которых происходил обмен рабочей силы, равно как стало невозможно усомниться в условиях, в которых происходил обмен благ. В этом стало невозможно усомниться с тех пор, как капитал решил, что всякий обмен (рабочей силы и благ) будет упорядочиваться правосудием, в котором все как один будут уверены и на которое в надлежащий момент все как один могут рассчитывать.

То есть от тех, кто столь всецело принял ценности *очищенного капитала*, даже не требуется, чтобы тела работников (спортсменов, например; сегодня их пример говорит сам за себя) могли соотноситься с правилами, к которым их приучает обмен. От них этого не требуется, потому что нет больше такого правила, которое не было бы призвано свидетельствовать в пользу всех правил. В пользу всех тех правил, при помощи которых господство себя увековечит.

Поскольку капитал — это само естество, и именно из этой естественности он думает извлекать свою неиссякаемую силу: а если кому вздумается добавить что-то к средствам, которыми одарила его природа, это значит, что он распространяет идею, согласно которой капитализм *будто бы не является естественным*.

Поскольку даже рынок является естественным; и поскольку для господствующего денежного режима спорт служит сегодня риторическим средством регулирования.

Поскольку прозрачность заведомо установлена без всяких границ. Поскольку прозрачность без всяких границ возможна. Конечно же, ничего не известно о людских телах и о том, что они скрывают; ничего не известно также и о том, что они *втайне источают*. То есть до сих пор ничего не было известно. Чего больше не требуется. Больше не требуется, чтобы об этом ничего не было известно. А главное, больше не требуется, чтобы не было известно то, а что телами предлагается для торгового обмена, в который вовлекает их капитал теперь, когда больше нет ничего, что могло бы их туда не вовлекать. И не суть важно, о каком теле идет речь: работника от спорта или работника от проституции. И вскоре будет требоваться, чтобы об этих телах, получать удовольствие от которых призывает сам капитал, было известно все.

Доказательства, представления которых ожидают от спортсменов, дабы те могли оправдать собственные достижения (тело, кровь, моча и т. п.), имеют ту же самую природу, что и те доказательства, которых будут дожидаться от всех тех, кто со своей стороны и на своем собственном месте содействует великому торговому-денежному обмену. Не хотят ли превратить этот обмен в игру? Конечно же, но при том условии, что обратное тоже будет возможно; даже не возможно, а несомненно: речь о том, чтобы даже игры превратить в обмен.

Тому капитализму, что был под вопросом, «на военном положении», не оставалось ничего другого, как всерьез придерживаться правил, которые по определению управляют капитализмом. Но как быть торжествующему капитализму? Торжествующий капитализм хочет быть в состоянии управлять даже игрой. То есть он в состоянии хотеть того, чтобы игра стала для него дополнительным доказательством.

Произошло то, чего, скажем прямо, никто не ожидал: капитал добился того, что соблюдение правил игры стало критерием соблюдения его собственных правил. Уже и речи не идет о том, чтобы развлечение оставалось вне пространства, которое капиталу очень хотелось контролировать с того времени, когда сами правила контроля должны были принять видимость некоей игры.

Вот уж совершенно необыкновенный переворот: требовалось только, чтобы к нему присоединились те, кто сегодня мнит себя судьями в вопросе соблюдения правил, причем не суть важно, о какой игре идет речь; а также те, кто соглашается, чтобы их судили, будучи вне себя от счастья, что есть еще игра, в которой кому-то угодно, чтобы они принимали участие.

Конечно же, и те, и другие с надлежащей непредвзятостью соблюдали правила, согласно которым нет такой игры, в которой не было бы согласия играющих. Но в результате доказывалась вовсе не непредвзятость, а *сами правила*. Когда сегодня повсюду стремятся к тому, чтобы ни осталось никого, кто не мог бы одержать победы в каком-либо соревновании, то цель не в том, чтобы люди думали, будто все кругом соревнование, а в том, чтобы они думали, что не осталось больше никого, кто мог бы быть обязанным своими результатами чему-то иному помимо непредвзятости, которая задействуется во всяком соревновании. Которая задействуется во всяком соревновании с того времени, когда нет такого соревнования, которое было бы не обязано представлять доказательства принципиальной непредвзятости.

Не столько ради непредвзятости как таковой, которую превращают в принцип только из собственного интереса, сколько ради той непредвзятости, в которой находит свой интерес сам принцип справедливости. И с того времени, когда справедливость находит в чем бы то ни было свой интерес, господство тоже его находит, из принципа.

Господство находит в этом свой интерес с того времени, когда не остается ничего, что могло бы вместо него требовать справедливости. Можно, наверное, и не знать, как истолковать то обстоятельство, что «политические» газеты уделяют столь большое (и во всяком случае невиданное прежде) значение играм и условиям, в которых называются те, кто одерживает победу. Тем не менее все всё знают: даже «политические» газеты стремятся доказать, что среди тех, кто побеждает, нет ничего и никого, что прежде всего не выражало бы торжества правил, благодаря которым они торжествуют. Правил рынка или какого-нибудь соревнования.

Вот в чем заинтересованы ревнители чистоты: в том, чтобы *капитал имел все основания настаивать на своих действительных правах, согласно которым господствовать от его имени можно не иначе, как господствуя по его правилам*.

То есть то, что следует называть *господством*, вполне можно было бы назвать справедливостью. Эти слова друг друга дополняют. Кто-то станет говорить, что они хотят того, чтобы восторжествовал капитал? Они будут протестовать, утверждая, что хотят победы справедливости. И не солгут. Не солгут, ибо и на самом деле пришли к убеждению, что нет никакой справедливости помимо той, которую может восстановить капитал. Что ради того, чтобы было побольше справедливости, не нужно, чтобы было поменьше капитала; наоборот, чтобы было побольше справедливости, нужно побольше капитала, а то и весь капитал.

Весь капитал — далеко не невинное выражение. Это как раз то единственное выражение, которое было под запретом в истории критики капитализма и которое, в конце концов, было разрешено капиталом.

Возможно, такое разрешение представляется невероятным. В то же время оно было неизбежным. Требовалось, чтобы обмен дошел и до этого. И он настолько удался, что теперь нетрудно оценить, за какое поражение оплачено этим обменом. Но те, кто лучше, чем кто-либо оценивают это поражение, объявлены нигилистами (конечно же, вопрос о нигилизме ставится снова и снова; в то же самое время и на этот раз, как и всякий раз, когда его надлежало ставить, он ставится так, что понятия, в которых он ставится, заведомо искажены).

Нигилистами, скорее уж, являются те, кто в наши дни с изумительным упорством работает изо дня в день на то оправдание, на которое капитал так долго работал в одиночку, достигнув при этом весьма сомнительного результата. Иначе говоря, те, кто допустил, чтобы то, что было чуждо всяким правилам, может притязать на то, чтобы удовлетворять самым строгим правилам из тех, что некогда ему противопоставлялись. Из всех форм конвертируемости всего во все, которые способен, как известно, установить капитал, ни одна не может вызвать большего изумления, чем эта.

Это изумление перед *тем, что есть* — разве не на него мог надеяться капитал?

Ясно одно: то, что сегодня господствует, не есть какое-то одно представление, возобладавшее над другим, из всех возможных представлений оно является тем единственным, которое оказалось в состоянии *перемешать* все представления; то есть которое оказалось в состоянии выразить и *смешение*, каковое в эпоху конца представлений поддерживали те, кто ему противился, и *слияние* всех представлений, каковое только оно могло осуществить.

Так что же, все склоняет думать, что ничего уже больше невозможно? Что *то, что есть* надолго? Что ничто уже не может этого оспорить?

Все к этому склоняет.

И в то же самое время все склоняет к тому, чтобы утверждать обратное. Как раз обратное. Хотя бы для того, чтобы противопоставить *тому, что есть* и что вызывает ужас, возможность *того, что могло бы быть*, возможность революции.

В конце концов, именно из угрозы возможности революции и возродится политика. В конце концов, именно исходя из возможности, революция может продолжать угрожать капитализму, а последний, без всяких на то оснований, должен будет продолжать притязать на то, что он представляет собой политику.